

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования

«НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. Н. А. ДОБРОЛЮБОВА»

## ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕТРАДИ

Выпуск 6

Нижний Новгород  
2016

Печатается по решению редакционно-издательского совета НГЛУ.

УДК 821 (494)

ББК 83.3 (4 Ш)

Ш 346

Швейцарские тетради. Выпуск 6. – Н. Новгород: НГЛУ, 2016. – 209 с.

ISSN 2587-8069

В шестой выпуск «Швейцарских тетрадей» вошли материалы международной научной конференции «Мир после наполеоновских войн», приуроченной к двухсотлетию Венского конгресса и прошедшей в стенах Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова 24-25 ноября 2015 года. Данное издание является частью совместного культурно-образовательного проекта посольства Швейцарии в России и НГЛУ.

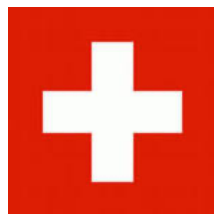
#### Редакционная коллегия

Редакторы: **Томас Гроб**, доктор филологических наук, проректор Базельского Университета (Базель, Швейцария); **Светлана Николаевна Аверкина**, доктор филологических наук, профессор НГЛУ, руководитель НОЦ «Центр немецкого языка и культуры Германии, Австрии и Швейцарии»

Технический редактор: **Александра Александровна Логинова**, лаборант-исследователь НОЦ «Центр немецкого языка и культуры Германии, Австрии и Швейцарии»

Члены редакционной коллегии: **Святослав Игоревич Городецкий**, доктор филологических наук, Литературный Институт им. М. Горького (Москва, Россия); **Светлана Борисовна Королева**, доктор филологических наук, профессор НГЛУ, Международная научно-исследовательская лаборатория «Фундаментальные и прикладные исследования аспектов культурной идентификации»; **Барбара Лаххайн**, почетный профессор НГЛУ, председатель Общества германо-российских встреч (Эссен, Германия); **Наталия Викторовна Морженкова**, доктор филологических наук, профессор РГГУ (Москва, Россия); **Хайке Шписс**, доктор филологических наук, Музей Гете (Дюссельдорф, Германия); **Андреас Тунсек**, доктор филологических наук, профессор Университета им. Г. Гейне (Дюссельдорф, Германия); **Сергей Матвеевич Фомин**, кандидат филологических наук, доцент НГЛУ

Рецензенты: **Тобиас Привителли**, доктор политических наук, Заместитель Посла Швейцарии в России; **Келсалл Малколм**, доктор филологических наук, заслуженный профессор Кардиффского Университета (Кардифф, Великобритания); **Фолькмар Хансен**, доктор филологических наук, профессор Университета им. Г. Гейне (Дюссельдорф, Германия); **Рафаела Божич**, доктор филологических наук, профессор Задарского Университета (Задар, Хорватия)



Published by the decision of the Editorial Board of LUNN.

УДК 821 (494)

ББК 83.3 (4 III)

III 346

Swiss notebooks. Volume 6. – Nizhny Novgorod: LUNN, 2016. – 209 p.

ISSN 2587-8069

The sixth issue includes the materials of the international scientific conference *The World after the Napoleonic Wars*, dedicated to the bicentennial of the Vienna Congress and held at LUNN on November 24-25, 2015. This publication is part of a joint cultural and educational project of the Swiss Embassy in Russia and LUNN.

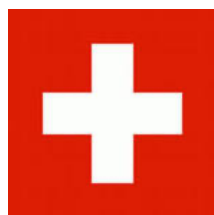
### Editorial Board

**Redactors:** **Dr Thomas Grob**, Doctor of Philology, Vize-Rector of Basel University (Basel, Switzerland); **Dr Svetlana Averkina**, Doctor of Philology, Professor of LUNN, «Center of German language and culture of Germany, Austria, Switzerland»

**Technical Redactor:** **Alexandra Loginova**, Junior Researcher of «Center of German language and culture of Germany, Austria, Switzerland»

**Members of Editorial Board:** **Dr Svytoslav Gorodezky**, Doctor of Philology, Maxim Gorky Literature Institute (Moscow, Russia); **Dr Svetlana Koroleva**, Doctor of Philology, Professor of LUNN, The International Research Laboratory of Basic and Applied Aspects of Cultural Identification (Nizhny Novgorod, Russia); **Barbara Lachhein**, Honorary Professor of LUNN, «Society of German-Russian Relationship: Essen-Nizhny Novgorod» (Essen, Germany); **Dr Natalia Morzhenkova**, Doctor of Philology, Professor of Russian State University for Humanities (Moscow, Russia); **Dr Heike Spiess**, Doctor of Philology, the cultural Department in Goethe-Museum (Düsseldorf, Germany); **Dr Andreas Turnsek**, Doctor of Philology, Professor of Heinrich-Heine-University (Düsseldorf, Germany); **Dr Sergey Fomin**, Doctor of Philology, Professor of LUNN

**Reviewers:** **Dr. Tobias Privitelli**, Doctor of Politology, Deputy Ambassador of Switzerland to Russia; **Dr Kelsall Malcolm**, Doctor of Philology, Professor Emeritus of Cardiff University (Cardiff, the UK); **Dr Volkmar Hansen**, Doctor of Philology, Professor of Heinrich-Heine-University (Düsseldorf, Germany); **Dr Rafaela Božić**, Doctor of Philology, Professor of University of Zadar (Zadar, Croatia)



## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Б. А. Жигалев</i> Приветственное слово.....	8
<i>П. Хельг</i> Приветственное слово.....	10
<i>С. Н. Аверкина, И. Ю. Зиновьева</i> Вступительное слово.....	11
<i>М. А. Александрова</i> Послевоенная Россия в романе Булата Окуджавы «Свидание с Бонапартом»: Толстовское «Зеркало».	13
<i>Л. А. Аверкина, А. С. Борисова</i> Студенческое движение Германии после Наполеоновских войн.....	25
<i>Л. А. Аверкина, Х. Бегер</i> Kulturhistorische Betrachtung der Entwicklungen in Deutschland nach der Französischen Revolution, den Siegen Napoleons und dessen Untergang im Vaterländischen Krieg und der Völkerschlacht bei Leipzig / Культурно-историческое рассмотрение событий в Германии после Французской революции, побед Наполеона и его поражения в Отечественной войне и Битве народов под Лейпцигом.....	34
<i>С. Н. Аверкина</i> Этапы и особенности рецепции творчества Адальберта Штифтера в европейской и русской культуре.....	41
<i>М. К. Бронич</i> Наполеон в Америке: современная реконструкция Наполеоновского мифа.....	47
<i>М. А. Грачев</i> «Пословицы русского народа» В. И. Даля об Отечественной войне 1812 г.: лингво-литературно-исторический аспект.....	58
<i>М. Е. Ерышева</i> Эволюция образа Наполеона в прозе Стендаля.....	64
<i>О. В. Козонкова</i> Франц фон Баадер и Священный Союз.....	71
<i>В. С. Листов</i> К мифу о михайловском зайце: Пушкин и Наполеон.....	81
<i>А. Е. Лобков</i> Рассказ А. Штифтера «Гранит»: семиотика пространства.....	94
<i>Г. А. Лошакова</i> Адальберт Штифтер и Карл Шпицвег: интермедиаальный аспект литературы бидермейера.....	110
<i>Н. В. Любимова</i> Моргартен – Мариньяно – Венский конгресс: от чужих знамен к нейтралитету.....	122

<b>О. А. Наумова</b> Наполеоновская эпоха и ее герои в викторианском сознании и литературе .....	134
<b>А. Г. Садовников</b> Морально-философские основания наполеоновской темы в творчестве В. А. Жуковского 1797-1800 гг.....	149
<b>Ю. В. Стулов</b> Романтическое переосмысление образа Мазепы в произведениях Дж. Г. Байрона и А. С. Пушкина.....	158
<b>А. А. Фомин</b> Гендерный дискурс в итальянской культуре первой трети XIX столетия .....	169
<b>С. М. Фомин</b> Наполеон в мемуарах графа Лас-Каза .....	175
<b>Ф. Ханзен</b> Astolphe de Custines <i>La Russie En 1839</i> und Heines Bonapartistische Interpretation / <i>La Russie En 1839</i> де Кюстина и бонапартистская интерпретация Гейне .....	185
<b>Д. Вульф</b> Der Wiener Kongress 1815 und die deutsch-russischen Beziehungen im 19. Jahrhundert / Венский конгресс 1815 и Германско-Российские отношения в 19 веке .....	196
<i>Сведения об авторах</i> .....	207

## CONTENTS

<i>B. A. Zhigalev</i> Welcoming Address.....	8
<i>P. Helg</i> Welcoming Address .....	10
<i>S. N. Averkina, I. Yu. Zinovieva</i> Opening remarks.....	11
<i>M. A. Aleksandrova</i> Post-War Russia in Bulat Okudzhava's Novel The Meeting with Bonaparte: Mirror by Tolstoy.....	13
<i>L. A. Averkina, A. S. Borisova</i> Student Movement in Germany after the Napoleonic Wars.....	25
<i>L. A. Averkina, H. Beger</i> Kulturhistorische Betrachtung der Entwicklungen in Deutschland nach der Französischen Revolution, den Siegen Napoleons und dessen Untergang im Vaterländischen Krieg und der Völkerschlacht bei Leipzig / Cultural-Historical Examination of the Developments in Germany after the French Revolution, the Victories of Napoleon and his Downfall in the Patriotic War and the Battle of Nations near Leipzig .....	34
<i>S. N. Averkina</i> Stages and Features of Reception of Adalbert Stifter's Creativity in European and Russian Culture.....	41
<i>M. K. Bronich</i> Napoleon in America: Modern Reconstruction of the Napoleonic Myth.....	47
<i>M. A. Grachev</i> Proverbs of the Russian People by V. I. Dal about the Patriotic War of 1812: Linguistic, Literary and Historical Aspect....	58
<i>M. E. Yerysheva</i> The Evolution of the Image of Napoleon in Stendhal's Prose .....	64
<i>O. V. Kozonkova</i> Franz von Baader and the Holy Alliance .....	711
<i>V. S. Listov</i> To the Myth of the Mikhailovsky Hare: Pushkin and Napoleon .....	811
<i>A. E. Lobkov</i> A. Stifter's Story <i>Granite</i> : Semiotics of Space.....	944
<i>G. A. Loshakova</i> Adalbert Stifter and Karl Spitzweg: The Intermedial Aspect of Biedermeier Literature .....	110
<i>N. V. Lyubimova</i> Morgarten – Marignano – Vienna Congress: From Foreign Banners to Neutrality .....	1222
<i>O. A. Naumova</i> The Napoleonic Era and Its Heroes in the Victorian Consciousness and Literature.....	1344

<b>A. G. Sadovnikov</b> Moral and Philosophical Foundations of the Napoleonic Theme in the Works of V. A Zhukovsky 1797-1800.	1499
<b>Yu. V. Stulov</b> Romantic Reinterpretation of the Image of Mazepa in the Works of G. G. Byron and A. S. Pushkin.....	1588
<b>A. A. Fomin</b> Gender Discourse in Italian Culture of the First Third of the XIX Century .....	1699
<b>S. M. Fomin</b> Napoleon in the Memoirs of Count Las Casas .....	1755
<b>V. Hansen</b> Astolphe de Custines <i>La Russie En 1839</i> und Heines Bonapartistische Interpretation / Astolphe De Custine's <i>La Russie En 1839</i> and Heine's Bonapartist Interpretation .....	1855
<b>D. Wulff</b> Der Wiener Kongress 1815 und die deutsch-russischen Beziehungen im 19. Jahrhundert / The Congress of Vienna in 1815 and German-Russian Relations in the 19th Century.....	11966
 <i>Information about the authors</i> .....	 207

*Ректор НГЛУ*

**Борис Андреевич Жигалев**

## **ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО**

В предлагаемом читателю очередном выпуске «Швейцарских тетрадей» публикуются материалы научной конференции «Мир после наполеоновских войн». Конференция стала результатом объединенных усилий Посольства Швейцарии в Москве и Культурно-информационного центра Швейцарии НГЛУ.

В разнообразных научных и образовательных мероприятиях приняли участие ученые из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Саратова, Казани, Нижнего Новгорода, Дюссельдорфа и Эссена. Разнообразные по тематике, посвященные истории, языку, классике и современности, статьи сборника отражают различные аспекты посленаполеоновской эпохи.

В рамках конференции были проведены мастер-классы, посвященные творчеству И. В. Гёте, Г. Гейне и Т. Манна, презентация проекта книги о генерале Жомини, кинопоказы, лекции об истории, культуре и ретороманском языке кантона Граубюнден.

В следующий выпуск «Швейцарских тетрадей» планируется включить статьи, связанные с развитием «Базельского текста» и переводом художественных произведений современных швейцарских авторов. Планируется проведение «Дней Нижнего Новгорода в Базеле» (апрель 2016 г.), программа которых включает семинары по компаративистике, фотовыставку «Базель встречает Нижний», презентацию традиций народного творчества в Нижегородской области и дискуссии о тенденциях в современном российском кинематографе.

Развитие российско-швейцарских отношений является одним из самых перспективных направлений международной деятельности нашего вуза.



Приглашаю всех принять участие в мероприятиях  
Культурно-информационного центра Швейцарии и желаю  
читателям новых открытий!

*Чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в  
Российской Федерации*

Пьер Хельг

**ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО**

**Уважаемые читатели!**

Я в очередной раз рад приветствовать тех, кто держит в руках новый номер «Швейцарских тетрадей». Итак, международный Венский конгресс 1814-1815 гг. Если вернуться в ту эпоху, мы увидим, что для Швейцарии тогда на кону стояло очень многое; большое значение имел он и для России – и не только в контексте взаимоотношений двух наших стран. В постнаполеоновскую эпоху должно было произойти переустройство Европы, и над небольшой нейтральной и к тому же внутренне весьма разнородной Швейцарией нависла опасность раздела. Большой удачей было то, что российский император Александр I выступил за сохранение нашей страны.

Счастлирое соединение геополитических соображений и личного отношения к Швейцарии (ведь, как мы знаем, у царя был швейцарский учитель Фредерик Лагарп, чьи идеи, по всей видимости, оказали влияние на будущего царя) сподвигло Александра I в феврале 1814 г. на назначение Иоанниса Каподистрии специальным посланником для защиты интересов Швейцарии, ее нейтралитета и независимости. Эта дата стала исторически важной не только для становления современной Швейцарии, но и для развития дипломатических отношений между нашими странами.

Я благодарю НГЛУ за проведение международной научной конференции, участники которой спустя 200 лет попытались выстроить «ретроспективу» мира после наполеоновских войн, проанализировать, как перестраивалась Европа. Я рад, что читатель еще раз сможет взглянуть на то, как вместе с новыми государственными границами появился и новый облик мира.

*Je vous souhaite une bonne lecture!*

*Нижегородский государственный лингвистический  
университет им. Н. А. Добролюбова*

С. Н. Аверкина, И. Ю. Зиновьева

**ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО**

**Мир после наполеоновских войн**

В 2015 году в мире широко отмечался 200-летний юбилей Международного Венского конгресса, проходившего с сентября 1814 по июль 1815 гг. Конгресс был созван державами-победителями: Россией, Великобританией, Австрией и Пруссией. Перед дипломатами стоял сложный вопрос о послевоенном устройстве европейского мира. Принятые на нем решения оказали влияние не только на политику, международные отношения, экономический уклад Европы и России, но и на духовную жизнь общества первой половины XIX столетия.

Культурно-информационный центр Швейцарии и кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации НГЛУ тоже решила отметить это знаменательное событие и предложила бросить ретроспективный взгляд на мир после наполеоновских войн. В тесном сотрудничестве с Посольством Швейцарии в Москве, Немецкой службой академического обмена и Переводческим факультетом НГЛУ была созвана большая международная конференция, в работе которой приняло участие около тридцати ученых из разных областей науки. Конференция проходила 24 и 25 ноября 2015 г. в Нижегородском государственном лингвистическом университете им. Н. А. Добролюбова. В течение двух дней рассматривались политические, исторические и культурные измерения «мира после наполеоновских войн».

Значительная часть докладов затрагивала различные аспекты наполеоновской темы. Наполеон Бонапарт еще при его жизни стал объектом поклонения и подражания. Образ Наполеона находит широкое отражение в произведениях мировой культуры. Конкретная историческая личность становится источником таких емких понятий как «наполеоновская идея», «бонапартизм», «наполеонизм»,

«наполеоновский миф». Наполеоновская тема стала одной из центральных в русской культуре, своеобразно преломившись в творчестве А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова и Б. Ш. Окуджавы.

Изменения, которые произошли в Европе после наполеоновских войн и Венского конгресса, нельзя недооценивать. Тень Наполеона витала над вновь образовавшимися монархиями, что проявилось прежде всего в усилении цензуры. Вместе с тем можно говорить и о значительном развитии некоторых областей знания: возродился интерес к национальным традициям, фольклору, мифотворчеству, появились переводческие школы, развивались лексикография, салонная музыка, песенная культура. Невероятного взлета достигла культура повседневной жизни. 20-30-е гг. XIX в. – время, когда вчерашние воины вернулись домой и занялись обустройством поместий, организацией досуга, самообразованием. Радикально изменилось представление о времени, движении истории, целях и смысле существования.

Немецкоязычная культура после наполеоновских войн, словно устав от великих потрясений революционного времени, обращается к малым темам: домашнего уюта, семейного счастья, поэтизации обыденной жизни и маленького человека, «обывателя». Сейчас период от 1815 до 1848 гг. более известен как эпоха бидермайера.

Большое внимание на конференции было уделено швейцарской теме. Наполеоновские войны самым существенным образом повлияли на национальную историю Швейцарии и формирование ее идентичности. В 1814-1815 гг. устанавливаются дипломатические отношения между Россией и Швейцарией. На Венском конгрессе европейские державы признают «постоянный нейтралитет» Швейцарии.

К сожалению, в сборник не попали прозвучавшие на конференции интересные доклады Э. Б. Акимова, Т. П. Смирновой, О. О. Несмеловой, Е. А. Наумовой, В. В. Савиной. Доклады О. Е. Оссовского и А. С. Карповой были напечатаны в 32-ом выпуске Вестника НГЛУ им. Н. А. Добролюбова.

**ПОСЛЕВОЕННАЯ РОССИЯ В РОМАНЕ БУЛАТА  
ОКУДЖАВЫ «СВИДАНИЕ С БОНАПАРТОМ»:  
ТОЛСТОВСКОЕ «ЗЕРКАЛО»**

**М. А. Александрова**

**Нижегородский государственный лингвистический  
университет им. Н. А. Добролюбова**

Творческая рецепция эпилога «Войны и мира» в романе Окуджавы рассматривается как проявление полемического диалога современного писателя с великим предшественником. Выявляется своеобразие отношения Окуджавы к толстовской диалектике человеческой ответственности и фатализма, освещается трансформация «мысли семейной» и «мысли народной» в свете исторического опыта XX века.

**Ключевые слова:** Окуджавы, Толстой, фатализм, эпическое, трагическое, Отечественная война 1812 года, восстание декабристов.

**Post-War Russia in Bulat Okudzhava's Novel *The Meeting with Bonaparte*:**

***Mirror* by Tolstoy**

**M. A. Alexandrova**

**Linguistic University Nizhny Novgorod**

The creative reception of the *War and Peace* epilogue in Okudzhava's novel is considered as a manifestation of the polemical dialogue of the modern writer with the great predecessor. The author reveals the peculiarity of Okudzhava's attitude to Tolstoy's dialectic of human responsibility and fatalism, highlights the transformation of «family thought» and «people thought» in the light of the historical experience of the twentieth century.

**Keywords:** Okudzhava, Tolstoy, fatalism, epic, tragic, Patriotic War of 1812, Decembrist uprising.

Сам факт обращения исторического романиста к наполеоновской эпохе означает, что он вступает в ту область, где непререкаем авторитет Толстого. Творческая рефлексия Окуджавы о книге, вошедшей «в состав воздуха нашей культуры» [1, с. 7], явилась важнейшим условием реализации собственного замысла. Констатируя ответственность этого шага Окуджавы, авторы первых откликов на роман по-разному судили о характере связей между «Свиданием с Бонапартом» и «Войной и миром».

По убеждению А. Адамовича, с появлением «Войны и мира» надолго пресеклась возможность художественной интерпретации Отечественной войны:

*«Лишь сто лет спустя русский писатель напрямую обратился к теме, открытой (и закрытой) в русской прозе Львом Толстым, – Булат Окуджава в романе „Свидание с Бонапартом“» [1, с. 3-4].*

Характерно, что А. Адамовичу не вспомнилась по этому поводу обширная после-толстовская беллетристика (от романов Данилевского и Мордовцева до разработок темы 1812 года в советской исторической прозе). Тем самым «Свидание с Бонапартом» оказалось поставлено исключительно высоко – как произведение, достойное быть прочитанным на фоне великой книги:

*«Но смотрите, как он <Окуджава> это сделал: совершенно не скрывая, что образы и картины Толстого, атмосфера толстовской эпопеи были для него, являются основной „реальностью“ (как и для каждого из нас: другой реальности 1812 года мы не знаем и восприняли бы ее с немалым, очевидно, сопротивлением)»<sup>1</sup> [1, с. 4].*

Таким образом, читательское приятие романа Окуджавы обернулось «узнаванием» толстовской концепции славной эпохи; сама же эта концепция, фактически признаваемая национальным мифом – *новой реальностью*, не подлежит ревизии.

Иную перспективу наметил первый обстоятельный разбор поэтики и проблематики романа, предпринятый Г. А. Белой:

*«Так, с периферии событий, войну 1812 года до Окуджавы не писал еще никто...» [3, с. 212].*

Подразумеваемое расшифровал С. Зенкин:

*«<...> напрашивается продолжение: „...никто, даже Толстой!“» [5, с. 71].*

Тогда же Е. Лебедева отметила полемический аспект диалога Окуджавы с великим предшественником [5, с. 380-382]. Но поскольку «завроженность» «Войной и миром» в целом сохранялась, большинство писавших о «Свидании с Бонапартом» трактовали все ситуационные переключки и межтекстовые связи исключительно в аспекте преемственности.

Нам представляется, что сущность позиции Окуджавы в диалоге с Толстым наиболее точно определена Е. Лебедевой:

---

<sup>1</sup> Выделение в цитатах здесь и далее мое. – М. А.

автор «Свидания с Бонапартом» сосредоточен на противоречии между толстовскими постулатами человеческой ответственности и фатализма [6, с. 381]. Разовьем эту мысль: основание эпической историко-философской концепции Толстого – диалектическое единство ответственности и фатализма – в рецепции Окуджавы оказывается взрывоопасным для человеческого сознания, поскольку долг осмысления общего хода событий, «большой истории» возложен современным писателем на непосредственных участников происходящего, по-новому понятых «маленьких» людей<sup>2</sup>. Все герои «Свидания с Бонапартом» нарушают «высший исторический принцип» Толстого:

*«В исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом процессе, никогда не понимает его значения. Ежели он старается понять его, он поражается бесплодностью» [9, с. 19].*

Умствующие персонажи «Свидания с Бонапартом» в своем *запретном* стремлении понять значение мирового движения сами приходят ко вполне «толстовским» выводам о призрачности власти *гениев* над массами, о многопричинности всего происходящего, об историческом статусе рядового участника больших событий – и действительно *поражаются бесплодностью*, но совсем иначе, нежели толстовские волюнтаристы и самозванцы. Героям Окуджавы свойственно трагическое чувство личной вины за состояние мира и сознание личного бессилия перед задачей «*облагородить искаженный лик истории*» [7, с. 276].

Переосмысление Окуджавой эпилога «Войны и мира» особенно наглядно свидетельствует о размежевании с Толстым – при сознательной ориентации на ряд его моделей. Автор «Свидания с Бонапартом» наследует «*семейный*» ракурс изображения послевоенной России: на жизнь людей, сердечно привязанных друг к другу, уже отбрасывает тень ближайшее будущее, назревающий исторический катаклизм.

У Толстого позиции заспоривших Пьера Безухова и Николая Ростова уравновешены благодаря авторскому комментарию и построению эпизода в целом. Пьер всей своей

---

<sup>2</sup> см. об этом в нашей статье [2, с. 301-308]

жизнью оправдывает толстовский отзыв о декабристах как «лучших русских людях», однако обличительный монолог героя

*«<...> всё гибнет. В судах воровство, в армии одна палка: шагистика, поселения, – мучат народ, просвещение душат. Что молодо, честно, то губят! Все видят, что это не может так идти. Всё слишком натянуто и непременно лопнет...»*

сопровождается замечанием: так, «с тех пор как существует правительство, взглядевшись в действия какого бы то ни было правительства, всегда говорят люди» [9, с. 296]; позднее добавлено с иронией, что Пьер чувствовал себя призванным «дать новое направление всему русскому обществу и всему миру» [9, с. 307]. Своего оппонента Пьер легко («так как его умственные способности были сильнее и изворотливее») побеждает логикой и фактами, и автор приходит на помощь Николаю:

*«<...> он в душе своей, не по рассуждению, а по чему-то сильнейшему, чем рассуждение, знал несомненную справедливость своего мнения» [9, с. 298].*

Далее акценты вновь смещаются. Монолог Ростова завершается страшным по сути своей обещанием:

*«– Я вот что тебе скажу, – проговорил он, вставая и нервным движением уставляя в угол трубку и, наконец, бросив ее. – Доказать я тебе не могу. Ты говоришь, что у нас все скверно и что будет переворот; я этого не вижу; но ты говоришь, что присяга условное дело, и на это я тебе скажу: что ты лучший мой друг, ты это знаешь, но, составь вы тайное общество, начни вы противодействовать правительству, какое бы оно ни было, я знаю, что мой долг повиноваться ему. И вели мне сейчас Аракчеев идти на вас с эскадроном и рубить – ни на секунду не задумаюсь и пойду. А там суди как хочешь» [9, с. 298].*

Хотя положение частного лица, в котором Ростов утвердился до конца жизни, не дает ему шанса подтвердить слова на деле (отсюда и нарочитая резкость сказанного), символический смысл выбора остается в силе. Недаром во сне Николеньки Болконского эта угроза дядюшки реализуется; представить себе юного человека под сабельным ударом храброго гусарского ротмистра, героя войны с Наполеоном, и оправдать справедливость такой развязки исторического конфликта – невозможно.



Итак, Пьер и Николай в эпилоге олицетворяют две равноправные тенденции русского мира – динамичную, «поисковую», потенциально революционную, и консервативную, охранительную, приемлющую данность жизни. Обе позиции скорректированы авторским «сверхзнанием» о месте человека в истории.

В романе Окуджавы есть персонаж, непосредственно соотнесенный с Николаем Ростовым: в 1825 году для Пряхина кончатся «застольные споры», и он поведет эскадрон на *лучших своих друзей*, выполняя приказ [7, с. 511]. Но правоту консерватизма олицетворяет (и философски обосновывает) прежде всего Варвара Волкова. В молодости мечтавшая о множестве детей, потом – о счастье единственной дочери, рачительная хозяйка поместья, преодолевшая военное разорение, строгая и справедливая в своей власти над мужиками, она словно бы осуществляет идеальную жизненную программу толстовского Ростова. Именно такой героине доверено осмыслить последствия главного события недавнего прошлого – исторического *свидания* России с Бонапартом. При этом третья часть романа – «*О том, что вспомнилось в преклонные лета*» – не превращается в эпилог, поскольку наступление мира – лишь иллюзия уставших от войны людей. Сама же консервативная, охранительная позиция героини подточена той самой исторической рефлексией, которая (по Толстому) враждебна естеству и обличает бесплодное самозванство. Варвара и рада бы жить, как она выражается, «натурально», уповая на мудрость «высших сил», небесных и земных, но она, в отличие от Ростова, не может интуитивно уклоняться от вопросов, заведомо неразрешимых в пределах личного человеческого опыта. Напротив, ее житейская интуиция оказывается проводником метафизической тревоги; после военных потрясений она борется с предчувствием новых несчастий, которых уже не вынести.

В романе Окуджавы связь войны с Наполеоном и выступления декабристов устанавливается на двух уровнях. Ближайшая предпосылка заговора – это впечатления участников европейского похода о лучшем, нежели в России, устройстве общественного быта:

«Господь милосердный, сколько бравых гвардейцев, воротившихся домой, потрясали кулаками, будто впервые дивясь на наше глухое варварство...» [7, с. 434-435].

Глубинная мотивировка – историческая «раскачка», некая инерция катаклизмов, которая, впрочем, задана не 1812 годом, а всей предшествующей историей человечества. Смену движений и противодвижений народов, чередование войн и междоусобий Окуджава видит отнюдь не по-толстовски – эпически, но с острым чувством ужаса перед повторяемостью кровопролития. Для Варвары Волковой очевидно, что мира нет, есть «тревожное перемирие» [7, с. 434].

Во время исторического перемирия Варвара, с ее материнским и хозяйским инстинктом, который она сама называет «волчьим», пытается заковать собственную тревогу, укорениться в жизни:

*«После всех бурь, пережитых нами, о чем я думаю? Как двадцать лет назад все спорили о Бонапарте, так нынче – о крестьянах. Рабы не рабы, позор не позор, можно продавать – нельзя продавать... Но все это проходит мимо меня, не очень-то задевая... О чем я думаю? Я не властна над жизнью, я ее пленница, я ее дитя, мы все ее дети. Она преображается сама, исподволь, и наше терпение ей споспешествует. <...> В шестнадцатом году и Тимоша, наглядевшись на всяческие европейские вольности, пылал и содрогался от жажды переустройств и плакал, поглаживая грязные головы холопских детей. <...> „От тебя, Тимоша, всего можно ждать“, – говорю я ему. „Вот уж нет, – отвечает он с грустью, – уже ничего. Течет речка, и я по ней...“» [7, с. 444-445].*

Диалоги Тимофея Игнатьева с матерью его невесты построены как инверсия споров Пьера Безухова с Николаем Ростовым: мечтатель, искатель общественного блага побежден не аргументами другой стороны, а житейской правотой консерватизма, только радости в этой новой позиции героя нет. Варваре же победа над дорогим человеком внушает слабую, стыдливую надежду на то, что можно укрыться от исторических потрясений в собственном маленьком «государстве»:

*«Там, в столицах, за калужскими лесами, что-то назревает, накапливается. Новые умы – новые притязания. А здесь истинная жизнь. Если объединить Губино и Липеньки, получится целое государство. Передам корону Лизе, пусть царствует» [7, с. 445].*

В романе Толстого усадебный мир, воссозданный после войны трудами Николая Ростова, предполагается устойчивым на

многие поколения вперед (мужики после смерти барина вспоминают его как всеобщего устроителя), и даже предугадываемая трагическая судьба Николеньки Болконского, и каторжное будущее Пьера – ничто не разрушит родового гнезда. В романе Окуджавы добровольная гибель Тимофея Игнатьева вслед за друзьями-декабристами станет событием, которое вынет душу из «государства», сотворенного матерью для любимых детей.

Соединив две олицетворенные традиции иначе, нежели Толстой в эпилоге «Войны и мира», Окуджава представил любящую семью вовсе не точкой опоры в исторических катаклизмах, но эпицентром трагедии. Принципиальное значение имеет сужение семейного круга. О толстовском идеале большой семьи напоминают по контрасту: в сюжетной линии Варвары – сквозной мотив несостоявшегося материнства:

*«<...> случайное моё дитя, заменившее мне всех остальных неосуществленных своих братьев и сестер» [7, с. 490] –*

в сюжетной линии Игнатьева – назидания Пряхина, бывшего товарища по европейскому походу:

*«Бери пример с меня: жду шестого наследника...» [7, с. 513].*

Семейное благополучие Пряхина гарантировано его бесчувственностью к неблагополучию мира, а потому незавидно для Игнатьева; Варвара Волкова в итоге пережитого и в предчувствии худшего отрекается от собственной мечты:

*«Стоит ли иметь много детей, если сыновья рождаются в киверах и лосинах, а дочери с личиками вдов?» [7, с. 486].*

Поэтому центральные герои «Свидания с Бонапартом» лишены той множественности уз, того чувства «роя», которые, по Толстому, оберегают человека и являются прообразом идеального состояния человечества. Ведь именно «роевая» атмосфера лысогорского дома торжествует в эпилоге «Войны и мира» над потенциальным разладом. Незащищенным предстает лишь Николенька Болконский, оказавшийся на периферии семейного круга, за что винит себя чуткая графиня Марья:

*«<...> И я боюсь, что забываю его за своими. У нас у всех дети, у всех родня; а у него никого нет. Он вечно один со своими мыслями» [9, с. 301].*

Подобных исключений не может быть в малом семейном мире героев Окуджавы: мать, дочь и ее избранник составляют *всё* друг для друга. Сама история послужила сближению двух родов, но та же история, чьи угрозы постоянно слышны человеку в «Свидании с Бонапартом», обусловила трагическую напряженность взаимной привязанности, неотступное предчувствие потери. Гибель одного участника семейного союза сокрушает всех.

Закономерно, что тема общей (семейной, поколенческой) памяти о победе над Бонапартом, главенствующая в третьей части романа Окуджавы, также контрастирует с параллельными местами в эпилоге «Войны и мира». У Пьера и Николая совершенно разный опыт войны, однако для них обоих это любимый разговор, дающий желанное примирение после споров о политике. Душевное согласие обретено ими в результате преодоления внутренних противоречий, которые неизбежны при столкновении человека со злом войны. Ростова посещали сомнения еще в Тильзите, потом в Островненском деле, когда право убить врага и прослыть за это героем показалось ему не безусловным. Николаю удается выйти из подобных испытаний без ущерба для врожденной цельности, и его воспоминания о 1812 годе ничем не омрачены. Пьер, со своей стороны, проходит путь от впечатлений хаоса войны к постижению – через Платона Каратаева – глубинной сути происходящего, что позволяет ему в 1820 году апеллировать из сложной современности к величественно-ясному прошлому. Напротив, в «Свидании с Бонапартом» захватывающие воспоминания окрашены странной тревогой:

*«Время от времени наезжали походные приятели Тимоши, в большинстве гвардейские офицеры <...>. Разговоры начинались с воспоминаний о походе, и голоса были звонки, сочны, а фразы отрывисты, приправлены смехом и недоумением, во всяком случае, мне запомнилось так. <...> голоса становились еще звонче, еще пронзительней и взлетали к потолку, перемешиваясь с табачным дымом, и уже угадывались очертания Варшавы, Берлина, Страсбурга, Парижа, и я, помнится, дышала этими ароматами и узнавала себя в толпах на Елисейских Полях, как вдруг, словно по общему уговору, всё обрывалось и мы оставались одни среди безграничных российских пространств, <...> одни наедине со свечами и*

*притихшей дворней за дубовой дверью... С рабами наедине...» [7, с. 464-465].*

Чувство опасного соседства с крестьянским миром, обостренное воспоминаниями о 1812 году, имеет параллель в романе Толстого: мужиков, вышедших из повиновения в ситуации военной угрозы, княжна Марья воспринимает как непостижимую для нее силу. Но действие этой силы осмыслено Окуджавой в последовательной полемике с «мыслью народной» у Толстого. «Богучаровский бунт» вызван, согласно толстовской историософии, глубинными архаическими импульсами, столь же мощными, как и необходимость движения народов с запада на восток; всё в истории таинственно взаимодействует, а в итоге создается, по выражению С. Г. Бочарова, «мир двенадцатого года» [4, с. 41], уникальное состояние нации. При столкновении с богучаровскими мужиками Ростов считал их попросту изменниками; однако бессознательно он приобщен к рождающемуся из частных коллизий целому, поэтому впоследствии «бунт» не омрачает для него картину славного прошлого. Пьер в эпилоге тревожится о возможности новой пугачевщины, но никак не связывает с этой угрозой проявления народной силы в 1812 году. Итак, всем героям Толстого памятно внесловное единство военной поры, и у каждого из них есть народный ориентир в послевоенной жизни: Пьер вспоминает Каратаева, Николай всматривается в мужика, «стараясь понять, что ему нужно, что он считает дурным и хорошим» [9, с. 266]. Напротив, в романе Окуджавы вопрос о «рабах» мучает и генерала Опочинина, начинающего повествование летом 1812 года с мыслью, «а одна ли у нас <господ и крестьян> кровь?» [7, с. 279], и Варвару Волкову, не забывшую после войны, что среди ее «людей» нашлись злодеи «хуже французов» [7, с. 433]. Такие эксцессы поведения простонародья, как поджоги, по-разному сопрягаются Толстым и Окуджавой с исторической ситуацией. Готовности смоленских купцов «запалить» свое имущество в знак причастности к общим бедствиям и общей судьбе противопоставлен пожар, учиненный мужиками в имении Варвары:

*«Бедная моя Лизочка, <...> так и проживет теперь всю жизнь с пламенем губинского дома в глазах! Разве это вытравить?» [7, с. 447].*

Губинский пожар – проявление низменных страстей, которые, по убеждению Окуджавы, развязывает в человеке любая война.

Для Толстого «народная война» – явление столь же великое, сколь естественное; это источник того духоподъемного чувства, которое сделало русских людей счастливыми вопреки тяжким испытаниям и осватило их послевоенное бытие. В романе Окуджавы пережитое в 1812 году рождает тревожные размышления:

*«Помилуйте, думала Варвара, какой парадокс? Рабы с рабовладельцами об руку, наряженные в мундиры, докатились до тех берегов, откуда хлынули на них соблазны воли и благополучия, хлынули на них, думала она, высокопарные посулы иной жизни, и вот они докатились и с разодранными знаменами потекли обратно, повсеместно встречаемые кликами восторга?.. Угрюмое препятствие для горделивых слов в адрес отечества представлял для Варвары сей парадокс» [7, с. 465].*

Речь героини не случайно принимает здесь форму третьего лица; ситуация исторического воспоминания эмблематизируется, равно как и предчувствие будущих бедствий:

*«И вот она молчала вместе с рабовладельцами в орденах и ранах, вглядываясь в их посеревшие лица, предполагая, что чистая, ясная, непререкаемая ее стезя, видимо, изменила ей, что здесь, среди этих прекрасных победителей зла, ее ожидают еще неведомые трагические повороты» [7, с. 465].*

Наконец, охранители и потенциальные мятежники уравниваются в своей беспомощности перед загадками исторической судьбы России:

*«За окнами была ночь. Она укрывала в темень громадные пространства, вызывавшие в нас столько ожесточения и боли, вдохновения и любви, – всё – леса и степи, города и селения, и показалось, что вымерло всё это и лишь мы одни, живые и теплые, с бокалами в руках и тоской во взорах, прислушивались к собственному сердцебиению. Что сулило нам утро, ежели оно должно было наступить?» [7, с. 467].*

Предсказание ближайших событий перерастает в пророчество иного рода, которое выводит на новый уровень рефлексии Окуджавы о наследии Толстого. С точки зрения

современного писателя, именно 1812 год, когда впервые заявила о себе «*новая, неведомая никому сила – народ*» (Толстой), стал прологом движений масс в XX веке; в этом смысле вся новейшая русская история является *послевоенной*: на историческое попрание выступают те самые *рабы*, поразившие героиню романа готовностью на всё – от защиты Отечества до расправы с соотечественниками, от героизма до зверства. Отдаленную, загадочную для героев «ночную» перспективу автор прояснил для читателей, посвятив роман памяти отца, погибшего в 1937 году. Таким образом, Толстой, прочитанный Окуджавой, оказывается *зеркалом русской революции* (хотя и не в том понимании, которое было актуально для автора знаменитой формулы).

Всматриваясь в *зеркало* «Войны и мира», современный писатель увидел разрыв между великим толстовским мифом, выстроившим национальную вселенную, и опытом новых поколений.

Наделив «простого человека» безошибочным нравственным чувством, гений снял противоречие между ответственностью и бессознательно-стихийными проявлениями народной силы в истории, решил вопрос самоопределения человека ищущего («ни в чем не отставать от них», как говорит Пьер после Бородинского боя); но фундаментальные вопросы могут быть решены подобным образом именно в том мире, который создал Толстой. Окуджава, всегда называвший Толстого среди своих любимых писателей, уже не мог жить внутри его «реальности». Как художник XX века, он был вынужден заново поставить важнейшие проблемы, связующие прошлое и настоящее, и признать их трагический характер.

### **Библиография:**

1. *Адамович А.* За происходящим непреходящее // Лит. обозрение. 1986. № 1. С. 3-4.
2. *Александрова М. А.* «Маленький человек» в романе Булата Окуджавы «Свидание с Бонапартом» // Вестник ННГУ им. Н.А. Лобачевского. 2010. № 4. С. 301-308.
3. *Белая Г. А.* В контексте художественного мира // Белая Г.А. Литература в зеркале критики. М.: Совет. писатель, 1986. С. 202-225.

4. *Бочаров С. Г.* Роман Л. Толстого «Война и мир». 4-ое изд. М.: Худож. литература, 1987.
5. *Зенкин С.* Испытание теорией: [Рец. на:] Г. Беляя. Литература в зеркале критики. М.: Совет. писатель, 1986 // Лит. обозрение. 1987. № 4. С. 70-72.
6. *Лебедева Е.* «Война и мир» Л. Толстого и «Свидание с Бонапартом» Б. Окуджавы: Традиции и новаторство // Zeitschrift für Slawistik. Bd. 31. 1986. № 3. S. 380-382.
7. *Окуджава Б. Ш.* Свидание с Бонапартом // Окуджава Б.Ш. Избр. произведения: В 2 т. Т.1. М.: Современник, 1989.
8. *Сухих И. Н.* Война и мир вокруг «Войны и мира» // Война из-за «Войны и мира: Роман Л. Н. Толстого в русской критике и литературоведении. СПб.: Азбука-классика, 2002. С. 7-32.
9. *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: В 22 т. Т.7. М.: Худож. литература, 1981.



## СТУДЕНЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН

Л. А. Аверкина, А. С. Борисова

Нижегородский государственный лингвистический  
университет им. Н. А. Добролюбова

В данной статье подчеркивается, что Наполеон и его завоевания сильно повлияли на последующее политическое и культурное развитие Европы и, в частности, Германии. Изменения затронули не только государственно-экономические отношения, но и идейно-просветительскую сферу. По примеру Франции в Германии стали складываться либеральные политические кружки, основными участниками которых были студенты. Особенно известны студенческие братства при университетах Йены, Гёттингена и Гиссена. Студенты, вдохновленные французской либеральной мыслью, которой они прониклись во времена Наполеоновских войн, бесспорно, были одной из движущих сил на пути реформ и дальнейшего объединения Германии.

**Ключевые слова:** Французская революция, Наполеон, студенческое движение, либеральные политические кружки, студенческие братства, единая свободная Германия, независимость Германии, конституция Германии.

**Student Movement in Germany after the Napoleonic Wars**

**L. A. Averkina, A. S. Borisova**

**Linguistic University Nizhny Novgorod**

This article emphasizes that Napoleon and his conquests greatly influenced the subsequent political and cultural development of Europe and, in particular, Germany. The changes affected not only state-economic relations, but also the ideological and educational sphere. Following the example of France, liberal political circles began to form in Germany, the main participants of which were students. The fraternities at the universities of Jena, Göttingen and Giessen are especially famous. The students, inspired by the French liberal thought, which they imbued during the Napoleonic Wars, were undoubtedly one of the driving forces on the path of reform and further unification of Germany.

**Keywords:** French Revolution, Napoleon, student movement, liberal political circles, student fraternities, united free Germany, German independence, German Constitution.

К Наполеону и его завоеваниям можно относиться по-разному, но нельзя не признать тот факт, что он сильно повлиял на последующее политическое и культурное развитие Европы и, в частности, Германии.

Уже в 1806 году вскоре после *Йена-Ауэрштедтского* сражения в Париже был подписан договор о создании Рейнского союза (*der Rheinbund*) между 16 южно- и западногерманскими княжествами. Он положил конец

Священной Римской империи Германской нации и способствовал в дальнейшем объединению Германии. В 1808 году Рейнский союз достиг своих наибольших размеров. Он охватывал четыре королевства, пять великих герцогств, тринадцать герцогств, семнадцать княжеств, а также независимые ганзейские города Гамбург, Любек и Бремен. Последним к Рейнскому союзу присоединился князь Ангальт-Дессау и получил в ответ титул герцога. В стороне остались лишь Пруссия, Австрия, принадлежавшее Дании герцогство Гольштейн и Шведская Померания.

Можно сказать, что Наполеоновские войны перекроили карту Германии: из 51 вольного города Наполеон оставил всего пять, остальные же были переданы десятку крупнейших государств. Та же судьба постигла сотни мелких княжеств, церковные владения и земли имперских рыцарей. Благодаря Наполеону в Германии была проведена секуляризация церковных земель, церковнослужители потеряли прежнее влияние и попали в зависимость от местных правителей. В 1818 году Пруссия ввела *единый таможенный тариф* для всех провинций, а в конце 20-х годов XIX столетия добилась уничтожения таможенных барьеров между нею и соседними мелкими государствами, что способствовало развитию торгово-экономических отношений внутри *немецкоязычного пространства*. Все эти позитивные преобразования привели к созданию в 1834 г. *Немецкого Таможенного союза*, объединившего 18 государств, где Пруссия играла руководящую роль. Только Австрия, Ганновер и Ольденбург не вошли в состав *Немецкого Таможенного союза*. Впервые в истории немецкого народа *Таможенный союз* привел к образованию *единого национального внутреннего рынка*.

Изменения затронули не только *государственно-экономические отношения*, но и *идейно-просветительскую сферу*. По примеру Франции в Германии стали складываться либеральные политические кружки, основными участниками которых были студенты. Особенно известны студенческие братства *при университетах Йены, Гёттингена и Гиссена*. Центры *либеральной политической мысли* находились в Йене, а *консервативной* – при университете Лейпцига.

Первое студенческое братство образовалось *при университете Йены* (основан в 1558 году) сразу после Венского конгресса в 1815 году. Его символом стал *черно-красно-золотой*

флаг, по цветам Добровольческого корпуса майора барона Адольфа фон Лютцова. 143 студента были приверженцами идей французской революции и выступали за создание единого немецкого государства, свободного и независимого, а также за введение конституции. И все это в условиях реакционной политики, установившейся в результате Венского конгресса по всей Европе. Каким образом в университете Йены студентам удалось организовать фактически оппозиционное сообщество? Во-первых, в этом университете либерально-настроенной была не только молодежь, но и преподавательский состав. Общая политика университета была направлена на воспитание у студентов чувства национального самосознания. Таким образом, там царил свободная и непринужденная атмосфера, поощрялась свобода мысли и слова. Еще в 1787 году Фридрих Шиллер (*Friedrich Schiller*) писал о «свободной республике» в университете Йены и о том, что профессора этого университета независимы в своих суждениях и могут не бояться сказать что-то неудобное властям<sup>3</sup>:

*«Die unter 4 sächsischen Herzogen verteilte Gewalt über die Academie macht diese zu einer ziemlich freien und sichern Republik, in welcher nicht leicht Unterdrückung stattfindet <...> Die Professoren sind in Jena fast unabhängige Leute und dürfen sich um keine Fürstlichkeit bekümmern» [2, с. 3].*

Кроме того, университет имел поддержку местного правительства, которое также придерживалось либерального курса. В 1816 году герцогство Саксония-Веймар (*Herzogtum Sachsen-Weimar*) стало первым немецким герцогством, которое приняло конституцию земли [2, с. 7]. Все это обусловило значение Йенского университета в истории Германии, как колыбели национальной немецкой идеи.

Члены Йенского братства (*Jenaer Urburschenschaft*) также выступили инициаторами Вартбургского празднества 1817 года (*Wartburgfest von 1817*) в честь трехсотлетия Реформации и годовщины Лейпцигской битвы. В город съехались участники студенческих братств 13 протестантских университетов Германии. По некоторым подсчетам, на праздник приехало более 450 студентов практически из всех немецких княжеств. Общее число обучающихся в немецких вузах составляло 8500 человек, а это означает, что практически, каждый

<sup>3</sup> Здесь и далее перевод наш. – Л. А. и А. Б.

двадцатый студент участвовал в Вартбургском празднестве [3, с. 4]. Стоит отметить, что студентов австрийских университетов (Вены, Инсбрука, Граца) на празднество не пригласили: реакционная политика министра иностранных дел Австрийской империи Клеменса Меттерниха (*Klemens Metternich*) разделила студенчество Германии и Австрии на два лагеря. Помимо студентов на празднестве собрались либерально настроенные профессора и иностранные гости. Многие из участников впоследствии добились успеха в литературе, политике, науке. На празднество приехали известные поэты и писатели, например, Август Даниэль фон Бинцер (*August Daniel von Binzer*), словацкий поэт и философ Ян Коллар (*Ján Kollár*), а также автор приключенческого романа и старший брат жены Гёте Кристиан Вульпиус (*Christian August Vulpius*) [3, с. 5].

На празднестве было провозглашено стремление добиваться гражданских свобод, всеобщего равенства перед законом, создавать народное представительство и объединять Германию. В конце мероприятия студент Риман (*Riemann*) письменно изложил основные идеи Вартбургского празднества, ставшие ключевыми для немецких либералов до и после революции 1848 года. Однако историки спорят о том, можно ли этот документ назвать первой партийной программой Германии. Впоследствии он лег в основу «Основных положений и решений 18 октября» («*Grundsätze und Beschlüsse des 18. Oktober*»), в документ, принятый годом позже (18 октября 1818 года) студенческими объединениями 14 университетов, вошедших в Общее немецкое содружество студентов (*Allgemeine Deutsche Burschenschaft*). Одного нельзя отрицать: изложенные Риманом требования Вартбургского празднества в той или иной мере были учтены во Франкфуртской конституции 1849 года, первой общегерманской конституции, принятой демократическим путем, которая, к сожалению, не вступила в силу из-за вооруженного сопротивления, сформированного королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом II. Основные ее положения были использованы в Веймарской конституции 1919 года, и даже в конституции ФРГ 1949 года [3, с. 11]. Таким образом, можно сказать, что участники Вартбургского празднества, в частности, его лидеры – Йенское студенческое братство – были основоположниками конституции современной Германии.

Сегодня сложно переоценить историческое значение Вартбургского празднества для современной Германии. Клаус Малетке (*Klaus Malettke*), немецкий историк, преподаватель в университете Марбурга, очень точно определил Вартбургское празднество как «первое в Германии стихийное политическое мероприятие, участники которого, не имея мандатов и полномочий, выразили волю народа» – «*Die erste spontane politische Veranstaltung, in der sich freigeildete Gruppen unmittelbar und ohne obrigkeitliches Mandat oder Sanktion im Namen des „Volkes“ und für das ganze Volk zu Wort meldeten*» [3, с. 5].

Размах празднества вызвал беспокойство у австрийского правительства, и в результате Клеменс Меттерних в 1818 году поставил на повестку дня вопрос о прекращении реформ и ограничении свобод, прежде всего в университетах. Эти призывы были отвергнуты, но начались преследования либеральных преподавателей и критика студенческого движения. В связи с этим у студентов не оставалось другого выбора, как тайно продолжать свою политическую деятельность. В их среде начался рост крайне правых настроений, кульминацией которых стали события 1819 года, когда один из йенских студентов, Карл Людвиг Занд (*Karl Ludwig Sand*) убил основного оппонента реформаторов А. Коцебу (*August von Kotzebue*). Реакция на это убийство была противоречивой, многие оправдывали убийцу. Но поскольку К. Л. Занд был из Йены, у Меттерниха появился повод созвать конференцию германских государей в Карлсбаде, где были приняты Карлсбадские постановления (*Karlsbader Beschlüsse*). Их суть заключалась в ликвидации автономии университетов и запрете студенческих братств, а также (что было самой большой потерей в борьбе за свободу) в ведении жесткой цензуры [5].

Для Йенского университета это означало конец движения за единую и свободную Германию. Преподавательский состав также подвергся репрессиям: Лоренц Окен (*Lorenz Oken*) был вынужден уволиться, Якобу Фризу (*Jacob Fries*) было запрещено преподавать философию, но он остался преподавателем математики и физики, а Генриху Лудену (*Heinrich Luden*) запретили публиковать свои работы. За студентами был установлен государственный контроль [2, с. 12].

Но, несмотря на репрессивные меры правительства, Йенский университет по-прежнему остался верен либеральным

идеям. Это оказалось возможным благодаря тому, что первые управляющие университетом, осуществляющие надзор за ним, придерживались умеренных взглядов и тем самым обеспечивали студентам и преподавателям относительную свободу мысли, что положительно отличало их от других университетов Германии.

Вновь выступать открыто за идею свободной и единой Германии университетское сообщество начало после Июльской революции во Франции 1830 года, которая нашла свое отражение и в Германии. Студенты устроили беспорядки, вышли на улицы с призывами:

*«Студенты, вперед! Граждане, вперед! Слава свободе всех граждан Германии!»* –

*«Bursche heraus! Bürger heraus! Es lebe die allgemeine deutsche bürgerliche Freiheit!»* [2, с. 13].

Хотя восстание было вскоре подавлено, и его участники еще не успели сформировать конкретных целей, оно стало доказательством недовольства правящей властью.

Университет Гиссен (основан в 1607 году) также принадлежит к числу немецких вузов, в которых были сильны идеи объединения и независимости Германии. Его студенты, взяв пример со студентов Йенского университета, также стали создавать студенческие кружки. Профессор университета Гиссен Фридрих Велькер (*Friedrich Welcker*) организовал в 1814 году «Немецкое общество любителей чтения» (*Deutsche Lesegesellschaft*), которое впоследствии возглавил профессор Карл Фоллен (*Karl Follen*). Из этого общества в 1815 возникло другое – «Германия» (*Germania*), просуществовавшее до 1818, т. е. до принятия карлсбадских постановлений [7].

Совсем другая атмосфера царила в *Лейпцигском* университете (основан в 1409 году). Идеи французской буржуазной революции добрались и туда, но жители Лейпцига не решались открыто говорить об этом, хотя и проявляли к ним живой интерес. Местное правительство всячески стремилось воспрепятствовать росту революционных настроений среди населения. Было даже популярно такое высказывание: «Образованные граждане не станут революционерами» – *Aufgeklärte Bürger werden keine Revolutionäre* [1, с. 10].

Профессора Лейпцигского университета входили в состав цензурного совета (*Zensurkollegium*) и должны были следить за всем, что попадало в печать. Таким образом правительство препятствовало распространению революционных настроений среди студенчества. Но, несмотря на это, в условиях тотального контроля и цензуры жители княжества Саксония, как и других немецких княжеств, проникались идеями французской революции, распространившись в Германии с наполеоновскими войнами. Конечно, на публичную критику местного правительства решались не многие, основная часть граждан находилась в «молчаливой оппозиции», как, например, врач и философ Эрнст Платнер (*Ernst Platner*). А те, кто решались на публичный протест, подвергались впоследствии репрессиям. В 1792 году философ Иоганн Борн (*Johann Born*), последователь Иммануила Канта, находясь во Франции, выразил свое одобрение происходившим там революционным процессам. В результате за ним установили контроль и предписали выплатить денежный штраф. После того, как филолог Иоганн Хильшер (*Johann Friedrich Hilscher*) высказал критические замечания в адрес местной власти, ему пришлось уволиться из университета, а позднее и эмигрировать во Францию [4, с. 4].

При университете Гёттинген (основан в 1734 году) был также сформирован студенческий кружок – «Гёттингенский клуб» (*Corps Frisia Göttingen*), объединявший либерально настроенную молодежь. Но он не имел того влияния, что Йенское братство и даже подвергался жестким репрессиям. В ответ на предложения К. Меттерниха в 1818 г. покончить с университетской автономией и ввести цензуру, в городке Витценхаузен студенты Гёттингена устроили забастовку, которая не имела успеха. Бойкотирование молодыми людьми университета привело к значительному уменьшению числа студентов: с 1158 человек в первом семестре до 858 во втором. До 1820 года за студентами этого университета был установлен пристальный контроль. Выступление 1823 года также не дало положительных изменений. Глубокий критик современности Генрих Гейне (*Heinrich Heine*) в своем произведении «Путешествие по Гарцу» (*Die Harzreise*) иронично описал Гёттинген, как «прекрасный город, если смотреть на него со спины» – «*Göttingen ist eine schöne Stadt, besonders, wenn man sie mit dem Rücken ansieht*» [6]. И только после Июльской революции во Франции 1830 года, которая нашла отклик и в Германии,

студенты добились начала реформ и упразднения академических привилегий.

Университет Киля (основан в 1665 году) тоже стал центром формирования студенческого либерального движения. В 1817 году на Вартбургском празднестве 25 студентов основали свое Братство (*Burschenschaft Teutonia zu Kiel*). Впоследствии из-за реакционной политики властей название приходилось часто менять. В связи с тем, что Шлезия и Гольштейн находились в это время под властью Дании, в среде местных студентов-участников *Братства* были особенно сильны сепаратистские настроения, желание отделиться от Дании. Это стало возможным в результате австро-пруско-датской войны 1864 года, после чего Шлезия и Гольштейн как объединенное княжество вошли в состав Пруссии [8].

Подводя итог, можно сказать, что Наполеоновские войны и Июльская революция 1830 года послужили толчком для роста либеральных сил в Германии. А поскольку молодые люди, как правило, быстрее проникаются новыми течениями, стремятся изменить то, что им кажется несовершенным или изжившим себя, неудивительно, что именно студенческие объединения зачастую становились центрами оппозиции правящей власти в Германии. Но существование подобных братств напрямую зависело от внешних факторов: в университете Йены благодаря относительно лояльному руководству даже после принятия карлсбадских постановлений студенты имели возможность заниматься политической деятельностью, в отличие от студентов Лейпцигского университета, где таких условий не было. Некоторые из членов студенческих братств приняли участие в заседании первого общегерманского парламента (Франкфуртское национальное собрание 1849 года). Из 809-ти депутатов собрания 160 были членами студенческих братств; председатель Генрих фон Гагерн (*Heinrich von Gagern*) состоял в кружках Йенского и Гейдельбергского университетов [3, с. 12]. Студенты (их не случайно называют «социальным динамитом общества»), вдохновленные французской либеральной мыслью, которой они прониклись во времена Наполеоновских войн, бесспорно, были одной из движущих сил на пути реформ и дальнейшего объединения Германии.



### Библиография:

1. *Döring D.* Die Französische Revolution von 1789 und ihre Auswirkungen im Blick der Universität Leipzig. Manuskript des Vortrags auf der Tagung der Historischen Kommission der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig // *Universitätsgeschichte als Landesgeschichte. Die Universität Leipzig in ihren territorialen Bezügen.* Leipzig, 2004.
2. *Hahn H. W.* Zur Rolle der Universität Jena in der deutschen Nationalbewegung. Jena, 2007.
3. *Kaupf P.* Das Wartburgfest von 1817 und seine Auswirkungen auf die demokratischen deutschen Verfassungen. Dieburg, 2003.
4. *Krause K.* Alma mater Lipsiensis. Geschichte Universität Leipzig von 1409 bis zur Gegenwart. Leipzig, 2003.
5. Erfurter Schulen [Электронный ресурс] URL: <http://gs31.erfurter-schulen.de>.
6. Heinrich Heine Literarische Gesellschaft [Электронный ресурс] URL: [http://www.literarische-gesellschaft.de/Heinrich\\_Heine\\_in\\_Goettingen](http://www.literarische-gesellschaft.de/Heinrich_Heine_in_Goettingen).
7. Universität Giessen [Электронный ресурс] URL: <https://www.uni-giessen.de>.
8. Universität Kiel [Электронный ресурс] URL: [www.uni-kiel.de](http://www.uni-kiel.de).

**КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ РАССМОТРЕНИЕ  
СОБЫТИЙ В ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ ФРАНЦУЗСКОЙ  
РЕВОЛЮЦИИ, ПОБЕД НАПОЛЕОНА И ЕГО ПОРАЖЕНИЯ  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И БИТВЕ НАРОДОВ ПОД  
ЛЕЙПЦИГОМ**

**Л. А. Аверкина, Х. Бегер**

**Нижегородский государственный лингвистический  
университет им. Н. А. Добролюбова,**

**Общество германо-российских встреч, г. Эссен**

Данная статья посвящена анализу влияния Французской революции и победе Наполеона в Европе в культурно-историческом аспекте. Призыв Французской революции к Свободе, Равенству и Братству нашел в Германии активный отклик. Это отразилось, в первую очередь, в духовной жизни немецкого общества: в литературе (И. В. Гёте, Ф. Шиллер), в музыке (Ф. И. Гайдн, В. А. Моцарт, Л. ван Бетховен) и в живописи, где важную роль наряду с немецкими (Франц Марк) сыграли русские художники (В. В. Кандинский и А. Г. Явленский) – основатели прогрессивного общества художников «Голубой всадник».

**Ключевые слова:** Французская революция, Наполеон, свобода, равенство, братство, духовность, культурная нация, политическая нация.

**Cultural-Historical Examination of The Developments in Germany after the  
French Revolution, the Victories of Napoleon and his Downfall in the Patriotic  
War and the Battle of Nations near Leipzig**

**L. A. Averkina, H. Beger**

**Gesellschaft für Deutsch-Russische Begegnungen Essen**

This article is devoted to the analysis of the influence of the French Revolution and the victory of Napoleon in Europe in the cultural and historical aspect. The call of the French Revolution for Freedom, Equality and Fraternity found an active response in Germany. This was reflected, first of all, in the spiritual life of German society: in literature (I. V. Goethe, F. Schiller), in music (F. I. Haydn, V. A. Mozart, L. van Beethoven) and in painting, where Russian artists (V. V. Kandinsky and A. G. Yavlensky) – the founders of the progressive society of artists "Blue Rider" played an important role along with German (Franz Marc).

**Keywords:** French Revolution, Napoleon, freedom, equality, brotherhood, spirituality, cultural nation, political nation.

**Kulturhistorische Betrachtung der Entwicklungen in  
Deutschland nach der Französischen Revolution, den Siegen  
Napoleons und dessen Untergang im Vaterländischen Krieg und  
der Völkerschlacht bei Leipzig**

Der Ruf der Französischen Revolution von 1789 nach *Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit* blieb auch in Deutschland nicht ungehört.

Friedrich Wilhelm Hegel (1770-1831), ein deutscher Philosoph, der als wichtigster Vertreter des deutschen Idealismus gilt, beschrieb die Ideale der Französischen Revolution als «*herrlichen Sonnenaufgang*» und deren Untergang als «*Tragödie*», weil jede geistige Bewegung eine Gegenbewegung auslöse [2, c. 926]. Der Ruf der Französischen Revolution nach *Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit* ist unter anderem deswegen bis heute weitgehend unerfüllt geblieben, weil er nicht differenziert betrachtet und verwirklicht wird. Am ehesten wird noch die Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz anerkannt, weil das Rechtsleben der Bereich ist, in dem die Gleichheit ihre volle Berechtigung hat.

Im Geistesleben jedoch, wo es um die freie Entfaltung des Denkens und der Fähigkeiten des einzelnen Menschen geht, führt verordnete Gleichheit zu bevormundender Gleichmacherei. Das heißt: im Geistesleben ist *die Freiheit* voll berechtigt und erforderlich, damit Kunst, Kultur und Wissenschaft sich frei entfalten können.

Im Wirtschaftsleben hingegen führt absolute Freiheit zu einem Sozialdarwinismus, in dem am Ende jeder dem anderen Feind wird. Im Wirtschaftsleben müsste daher Brüderlichkeit walten, um allen Menschen einen gerechten Anteil an den Erzeugnissen der Gesellschaft zu geben.

Die Brüderlichkeit ist jedoch der am schwersten zu verwirklichende Bereich, weil er von den Menschen Altruismus und Uneigennützigkeit verlangt. Der Mensch ist jedoch von Natur aus, das heißt als reines Naturwesen betrachtet, zunächst mehr oder weniger egoistisch veranlagt und kann altruistisch nur durch Einsicht und Selbst-Erziehung werden. Das setzt voraus, dass wir uns selbst nicht nur als Naturwesen, als endliches Wesen betrachten, sondern als ein Wesen, das teil hat an der Unendlichkeit mit Leib, Seele und Geist.

Im Verlauf der Französischen Revolution wurden sich die bereits geeinigten Völker Europas auch als politische Nationen bewusst. In Deutschland jedoch erschwerten die Kleinstaaterei und deren Vielfalt, Obrigkeitsdenken sowie die Auflösung des «*belebten Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation*» durch Napoleon 1806 die Bildung einer Nation [4].

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts fühlten sich stattdessen die deutschen Dichter und Denker als Träger einer «Kultur-Nation». Und so wurde im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts der geistige und künstlerische Grund gelegt zu einer bisher unerreichten Höhe deutscher Dichtung, die mit dem so genannten «*Sturm und Drang*» um den jungen J. W. Goethe begann, sich in Opposition zur Aufklärung setzte und als Klassik bezeichnet wird. Ihre Exponenten sind *Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832* (der berühmteste deutsche Dichter und einer der bekanntesten Dichter der Welt; er hat größte und schönste dichterische Kunstwerke geschaffen und viele weise und richtige Erkenntnisse ausgesprochen) und *Friedrich Schiller, 1759-1805* (ein deutscher Dichter, Philosoph und Historiker; er gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker, Lyriker und Essayisten).

Von daher war es folgerichtig, dass Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller in ihren gemeinsam herausgegebenen *Xenien* (*Gastgeschenken*) von 1795 die Frage stellten nach der Aufgabe Deutschlands inmitten der konkurrierenden Mächte Europas und wie folgt beantworteten:

«*Deutschland? Aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden,  
Wo das gelehrte beginnt, hört das politische auf*». (Und umgekehrt, könnte man ergänzen).

«*Zur Nation euch zu bilden, ihr hoffet es, Deutsche, vergebens;  
Bildet, ihr könnt es, dafür freier zu Menschen euch aus*» [3, c. 267].

Die *Xenien* sind ein äußerst polemischer Angriff auf die damalige Literaturzunft, den gesamten Literaturbetrieb und die spießbürgerlichen Zeitgenossen. Die *Xenien* Goethes und Schillers sind allerdings nicht nur kritisch, sondern vielmehr literaturpolitisch motiviert. *Xenien* (gr.), ursprünglich «Gastgeschenke», nannte der römische Dichter Martial (1. Jh. n. Chr.) das 13. Buch seiner Epigramme, die als Begleitverse zu Geschenken gedacht waren. Johann Wolfgang von Goethe übernahm diesen Titel im ironischen Sinne für Distichen, die er gemeinsam mit Friedrich Schiller verfasst hatte [6].

Einen ähnlichen Höhepunkt gab es in der Musik mit *Haydn, Mozart und Beethoven*, auch wenn diese universeller sind. *Franz Joseph Haydn* (1732-1809), *Wolfgang Amadeus Mozart* (1756-1791), *Ludwig van Beethoven* (1770-1827) waren Komponisten der Wiener Klassik. *Wolfgang Amadeus Mozart* – sein umfangreiches Werk genießt weltweite Popularität auch zurzeit – gehört zum

Bedeutendsten im Repertoire klassischer Musik. *Ludwig van Beethoven* hat diese zu ihrer höchsten Entwicklung geführt und der Romantik den Weg bereitet.

In der Architektur und bildenden Kunst gab es keine vergleichbare Entwicklung, wenn man vom so genannten «Klassizismus» absieht, der Stilelemente der antiken Klassik übernahm und bis um 1830 neben der Romantik die bildende Kunst bestimmte.

Die Romantik strebte nach Auflösung der Gegensätze: Natur – Geist, Gefühl – Vernunft, Endliches – Unendliches, wie der Dichter *Friedrich von Hardenberg (Novalis)* (1772-1801), ein deutscher Schriftsteller der Frühromantik und Philosoph. Aber die Romantik war nicht nur eine deutsche Geistesbewegung, sondern ergriff die ganze alte und neue Welt, wie *Alexander Puschkin* (1799-1837) in Russland. Alexander Puschkin, russischer Dichter und Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, nimmt bis heute eine zentrale Stelle in der russischen Nationalliteratur ein.

In der Malerei gab es keine vergleichbaren Entwicklungen. Diese kam über die abbildende Historien-, Landschafts- und Portraitmalerei nicht hinaus. Ein Wendepunkt erfolgte erst in der Moderne (Avantgarde) im Übergang vom 19. zum 20. Jahrhundert. Und es waren zwei russische Maler, die diese in Deutschland mitbegründeten, nämlich *Wassily Kandinsky* (1866-1944) und *Alexej von Jawlensky* (1864-1941), die beide unabhängig voneinander 1896 nach München kamen und «einen neuen Geistrealismus» schufen, wie das der deutsche Gelehrte, Literaturwissenschaftler, Professor für Philosophie Manfred Krüger formuliert hat [5].

Wassily Kandinsky – Maler, Grafiker und Kunsttheoretiker, der auch in Deutschland und Frankreich lebte und wirkte. Mit Franz Marc war er Mitbegründer der Redaktionsgemeinschaft *Der Blaue Reiter*, die am 18. Dezember 1911 ihre erste Ausstellung in München eröffnete. *Der Blaue Reiter* ging aus der 1909 gegründeten Neuen Künstlervereinigung München hervor. Zum Umfeld der von Wassily Kandinsky und Franz Marc initiierten Redaktionsgemeinschaft *Der Blaue Reiter* gehörte auch Alexej von Jawlensky, der als Maler des Expressionismus zählt.

Unter dem Eindruck der Herrschaft Napoleons wurden jedoch auch die zunächst unpolitischen Freiheitsideen der deutschen «Kultur-Nation» auf die Nation bezogen. Und in den *Reden an die deutsche Nation* (1807/8) forderte der deutsche Erzieher und

Philosoph, der wichtigste Vertreter des Deutschen Idealismus *Johann Gottlieb Fichte* (1762-1842) geistige Freiheit zur politischen Erneuerung und setzte in nationaler Übersteigerung das «*deutsche Wesen*» mit wahrer Sittlichkeit und Kultur gleich [1, c. 60].

Unklar blieb die inhaltliche Bestimmung der nationalen Freiheit. Die Nation wurde aufgefasst als geistige Kulturgemeinschaft wie in der Klassik und im Deutschen Idealismus und als politische Gemeinschaft freier Menschen nach dem Vorbild des französischen Nationalstaates. Einig war man sich nur in dem gemeinsamen Ziel, die französische Fremdherrschaft abzuschütteln. Insofern kann man Napoleon als *Einiger des deutschen Volkes* bezeichnen. Nach seinem Sturz brachen jedoch die politischen Gegensätze auf.

### **Kurzer Kommentar zum Text: Namen und Begriffe**

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) war ein deutscher Philosoph, der als wichtigster Vertreter des deutschen Idealismus gilt.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) war der berühmteste deutsche Dichter und einer der bekanntesten Dichter der Welt. Er hat größte und schönste dichterische Kunstwerke geschaffen und viele weise und richtige Erkenntnisse ausgesprochen.

Johann Christoph Friedrich von Schiller (1759-1805) war ein deutscher Dichter, Philosoph und Historiker. Er gilt als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Dramatiker, Lyriker und Essayisten. Viele seiner Theaterstücke gehören zum Standardrepertoire der deutschsprachigen Theater. Seine Balladen zählen zu den bekanntesten deutschen Gedichten. Schiller gehört mit Wieland, Goethe und Herder zum Viergestirn der Weimarer Klassik.

Xenien (gr.), ursprünglich «Gastgeschenke», nannte der römische Dichter Martial (1. Jh. n. Chr.) das 13. Buch seiner Epigramme, die als Begleitverse zu Geschenken gedacht waren. Johann Wolfgang von Goethe übernahm diesen Titel im ironischen Sinne für Distichen, die er gemeinsam mit Friedrich Schiller verfasst hatte. Die Xenien erschienen in Schillers Musenalmanach auf das Jahr 1797. Die Manuskriptabschrift mit insgesamt 676 Xenien ist uns heute erhalten. Die Xenien sind ein äußerst polemischer Angriff auf die damalige Literaturzunft, den gesamten Literaturbetrieb und die

spießbürgerlichen Zeitgenossen. Die Xenien Goethes und Schillers sind allerdings nicht nur kritisch, sondern vielmehr literaturpolitisch motiviert.

Franz Joseph Haydn (1732-1809) war Komponist zur Zeit der Wiener Klassik. Er war Bruder des Komponisten Michael Haydn und des Tenors Johann Evangelist Haydn.

Wolfgang Amadeus Mozart, mit vollständigem Taufnamen: Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart (1756-1791) war ein Komponist der Wiener Klassik. Sein umfangreiches Werk genießt weltweite Popularität und gehört zum Bedeutendsten im Repertoire klassischer Musik. Er selbst nannte sich meist Wolfgang Amadé Mozart. Mozart war ein Wunderkind. Bereits mit drei Jahren fing er an, Klavier zu spielen, mit vier Geige, mit fünfzehn gab er sein erstes öffentliches Konzert. Sein Gehör war absolut.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) war ein Komponist der Wiener Klassik. Er hat diese zu ihrer höchsten Entwicklung geführt und der Romantik den Weg bereitet.

Georg Philipp Friedrich von Hardenberg (Novalis) (1772-1801) war ein deutscher Schriftsteller der Frühromantik und Philosoph.

Alexander Puschkin (1799-1837) russischer Dichter und Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, nimmt bis heute eine zentrale Stelle in der russischen Nationalliteratur ein. Seine Werke, in denen alte starre Sprachformen durch die Lebendigkeit der Volkssprache abgelöst wurden, leisteten den größten und endgültigen Beitrag zur Herausbildung der neuen russischen Literatursprache.

Wassily Kandinsky (1866-1944) war ein russischer Maler, Grafiker und Kunsttheoretiker, der auch in Deutschland und Frankreich lebte und wirkte. Mit Franz Marc war er Mitbegründer der Redaktionsgemeinschaft *Der Blaue Reiter*, die am 18. Dezember 1911 ihre erste Ausstellung in München eröffnete. *Der Blaue Reiter* ging aus der 1909 gegründeten Neuen Künstlervereinigung München hervor, in der er zeitweise Vorsitzender war.

Alexej von Jawlensky (1864-1941) war ein russisch-deutscher Maler. 1930 beantragte er die deutsche Staatsbürgerschaft, die er 1934 auch erhielt. Jawlensky zählt als Maler des Expressionismus zum Umfeld der von Wassily Kandinsky und Franz Marc initiierten Redaktionsgemeinschaft *Der Blaue Reiter*.

Manfred Krüger (1938 – bis heute) ist ein deutscher Gelehrter, Literaturwissenschaftler. 1980-2010 Professor für Philosophie an der Fachhochschule Ottersberg.

Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) war ein deutscher Erzieher und Philosoph. Er gilt neben Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Georg Wilhelm Friedrich Hegel als wichtigster Vertreter des Deutschen Idealismus.

### **Библиография:**

1. *Fichte J. G.* Reden an die Deutsche Nation. Hamburg: Felix Meiner, 1978.

2. *Hegel G. F.* Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte / Hrsg. v. G. Lasson. Bd. 4. Leipzig, 1920.

3. *Schiller F.* Sämtliche Werke: in 5 Bdn. / Hrsg. v. G. Fricke u. H.G. Göpfert. Bd. I: Gedichte/Dramen I. München: Carl Hanser, 1958.

4. Heiliges Römisches Reich deutscher Nation [Электронный источник] URL: <http://www.xn--heiliges-rmisches-reich-hlc.de/>.

5. Verlag am Goetheanum [Электронный источник] URL: [http://www.vamg.ch/Autoren.5934.0.html?&no\\_cache=1&tx\\_addressviewer\\_pi1%5Bauthor%5D=3526](http://www.vamg.ch/Autoren.5934.0.html?&no_cache=1&tx_addressviewer_pi1%5Bauthor%5D=3526).

6. Wörterbuch und Enzyklopödie Academic [Электронный источник] URL: [http://universal\\_lexikon.de-academic.com/321149](http://universal_lexikon.de-academic.com/321149).



## ЭТАПЫ И ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПЦИИ ТВОРЧЕСТВА АДАЛЬБЕРТА ШТИФТЕРА В ЕВРОПЕЙСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

С. Н. Аверкина

Нижегородский государственный лингвистический  
университет им. Н. А. Добролюбова

Творческое мышление Адальберта Штифтера сложилось в период подъема национального сознания, в посленаполеоновскую эпоху, когда литература Дунайской империи переживала период стилистической эклектики. На культуру в одинаковой степени влияли сентиментализм, просветительский классицизм, романтизм; параллельно развивалась массовая литература и литература «высокого бидермайера». Штифтер впитал и переосмыслил основные тенденции эпохи. Рецепция творчества австрийского писателя является своего рода моделью отношения к самой эпохе – от критического до восторженного.

**Ключевые слова:** эпоха бидермайер, «высокий бидермайер», литературный контекст, рецепция.

**Stages and Features of Reception of Adalbert Stifter's Creativity in European and  
Russian Culture**

**S. N. Averkina**

**Linguistic University Nizhny Novgorod**

The creative thinking of Adalbert Stifter was formed during the period of the rise of national consciousness, in the post-Napoleonic era, when the literature of the Danube Empire was experiencing a period of stylistic eclecticism. The culture was equally influenced by sentimentalism, enlightenment classicism, romanticism; mass literature and the literature of the «high Biedermeier» developed in parallel. Stifter absorbed and rethought the main trends of the era. The reception of the Austrian writer's work is a kind of model of attitude to the epoch itself - from critical to enthusiastic.

**Keywords:** Biedermeier epoch, «high Biedermeier», literary context, reception.

Тексты австрийского прозаика, художника и общественного деятеля посленаполеоновской эпохи Адальберта Штифтера (1805-1868) по сей день вызывают споры и разночтения. Часть критиков и читателей видят в нем безусловного гения, создателя нового художественного языка, часть – заурядного писателя-почвенника, автора затянутых историй с однообразными сюжетами. В значительной степени репутации А. Штифтера повредило признание национал-социалистической пропагандой. Отчасти поэтому его не принимало революционное поколение 70-х, которое видело в

нем консерватора, прячущего за кулисами идиллий противоречия существующего общественного устройства (см. эссе А. Шмидта «Кроткий недочеловек» [13]).

История читательского признания А. Штифтера волнообразна. После десятилетий известности (30-е гг. XIX столетия) книги его были преданы забвению, во многом вследствие пассивной политической позиции писателя после революции 1848 года. В период развития реализма его произведения также мало интересовали критиков и широкую публику. Имя А. Штифтера зазвучало снова только на рубеже веков, благодаря вниманию к нему писателей и философов-модернистов, каждый из которых находил в его творчестве что-то близкое собственной поэтической парадигме. Например, Р. М. Рильке восхищался отношением А. Штифтера к «предметности». В момент создания *Ding-Gedichte* поэт стремился «проникнуть в суть вещей, полюбить их так, чтобы подчеркнуть их достоинство и взглянуть на них со стороны». Роман «Бабье лето» послужил ему в этом лучшим образцом [9, с. 124].

Г. Лукач считал А. Штифтера родоначальником особой творческой системы, создателем метода, отличающего его от многих авторов-реалистов второй половины XIX века:

*«Его эстетически выраженный квиетизм контрастирует с „героическим реализмом“ современных авторов»* [9, с. 124].

На страницах журнала «Факел» (1916) К. Краус со свойственной ему иронией предлагал толпам современных «писак» направиться к могиле А. Штифтера и совершить перед нею «творческое самоубийство, отказавшись от своих засаленных виршей и неумелых перьев» [11, с. 152].

Вслед за Фр. Ницше Г. фон Гофмансталь подчеркивал вневременной характер творчества писателя. В 1925 г. в послесловии к очередному изданию «Бабьего лета» он написал об А. Штифтере с ноткой ностальгии:

*«Пришло время, когда неисчерпаемая поучительность этой книги может проникнуть в наши души».*

По мнению писателя, А. Штифтер говорил о зеркальной чистоте слова и нежных очертаниях «вечных» героев [8, с. 6].

Ф. Кафку, по свидетельствам М. Брода, наиболее сильно поражало мастерство Штифтера-рассказчика. Непрерывность,

текучесть, гомогенность текстов делали в его глазах создателя «Бабьего лета» великолепным стилистом.

Творчеством А. Штифтера интересовались также некоторые писатели-экспрессионисты, например, Г. Бенн, считавший «„чистую форму“ А. Штифтера выражением чистейшей художественности» [8, с. 152].

В книге «Занавес» М. Кундера справедливо подмечает, что именно Штифтер, которого «можно назвать главным писателем Центральной Европы XIX века, чистым цветком этой эпохи и ее идиллического и добродетельного духа, который получил название стиля бидермейер», одним из первых обнаружил экзистенциальное значение бюрократии и дал ему «феноменологическое» описание. В романе «Бабье лето» Ризах объясняет Генриху, что стать чиновником ему помешала неспособность повиноваться и «уважение к вещам, таким, каковы они есть», уважение столь глубокое, что во время переговоров он защищал не то, что требовало начальство, а то, «что требовалось для дела» [2]. Его разрыв с бюрократией – это пример одного из самых памятных разрывов человека с современным миром. Таков радикальный разрыв многих героев эпохи модернизма – в качестве примера можно привести тексты Ф. Кафки, И. Рота, Р. Музиля, Т. Манна, А. Дёблина.

А. Штифтер стал одним из самых известных австрийских писателей эпохи бидермайер, выразителем национальной идентичности. Примечательно, что эту мысль поддерживает в эссе «Опыт о Штифтере» (1982) знаменитый современный писатель, знаток немецкоязычной литературы, автор теоретических исследований Петер Розай [12]. Перекидывая мостик от «высокого бидермайера» в современность, он говорит о близости А. Штифтера австрийским писателям конца XX века (Т. Бернхарду, П. Хандке, Г. Йонке).

П. Розай решительно отрицает тезис о том, что А. Штифтер – предтеча реализма. Пристальное вглядывание в детали, затянутость описаний, тяготение к повторам, стилизация, склонность к аффирмативности, по его мнению, связаны с «отреченностью от настроений и ощущений реальной действительности» [12, с. 118]. Его цель заключается в непрестанном доказательстве состоятельности изображаемого идеала [12, с. 126]. Такова же стратегия и многих современных авторов (Г. Йонке, П. Хандке). Письмо Штифтера

представляется ему, в первую очередь, экзистенциальным актом, попыткой преодоления страха перед низшими пределами жизни («*Angst vor dem Einbrechen in das ... als gesetzlos empfundene Unten*»), предчувствием бездны («*Ahnung der Tiefe*») [12, с. 124]. А. Штифтер для него писатель, привнесший в литературу новые принципы обращения с языком. Отсюда его «авангардизм и современность» [12, с. 122]. Удаляясь от романтически-бунтарского восприятия стихии жизни, А. Штифтер «хотел казаться классиком, но не был им» (классик, в данном случае, значит – консерватор), и это, по мнению П. Розая, объединяет его с «новыми классиками» современной австрийской литературы («*Stifter glaubte, das zu sein, was er unter dem Begriff Klassiker verstand. Er war es nicht. Das verbindet*») [12, с. 126].

В России А. Штифтер также достаточно известен и изучен. Среди исследователей творчества А. Штифтера в России можно назвать Д. В. Затонского, В. Г. Зусмана, Г. А. Лошакову, А. В. Михайлова, Н. С. Павлову, Л. Н. Полубояринову, Г. И. Родину, Т. И. Сильман, С. Е. Шлапоберскую. Книги писателя были рано переведены на русский язык. В 1915 г. появилась новелла А. Штифтера *Bergkristall* («Ночь под Рождество среди снега и льда»). Однако этот текст, напоминающий по стилистике названия повесть Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством», остался незамеченным [10]. Первое упоминание имени А. Штифтера в академическом учебнике по западноевропейской литературе под редакцией Фр. П. Шиллера последовало через четверть века, в 1939 г., в главе «Мещанские „областнические“ реалисты».

Две новеллы «Старая печать» (пер. Н. Аверьяновой) и «Гранит» (пер. А. Авербаха), вошедшие в сборник «Австрийская новелла XIX века» (1959 г.) [1], также не вызвали широкого резонанса. Ситуация изменилась в 70-е гг. после выхода сборника новелл А. Штифтера под редакцией С. Е. Шлапоберской (Вступительная статья С. Шлапоберской). Были переведены новеллы «Портфель моего прадедушки» (пер. Р. Гальпериной), «Авдий» (пер. П. Казаркиной), «Бригитта» (пер. Д. Каравкиной), «Старый холостяк» (пер. И. Татариневой), «Лесная тропа» (пер. В. Розанова), «Потомки» (пер. Е. Михелевича). Об А. Штифтере заговорили как о серьезном авторе «предмартовской» эпохи.

Наконец, творчеством А. Штифтера заинтересовался известный германист А. В. Михайлов, который впервые назвал создателя романа «Бабье лето» классиком австрийской литературы [3; 4; 5]. В 1967 г. в пятитомном издании «Памятники мировой эстетики» он написал главу об Австрии, в которую вошла также информация об А. Штифтере и перевод его программного «Предисловия» к сборнику «Пестрые камешки». По мнению ученого, А. Штифтер соединил в своем творчестве традиции эпохи Просвещения, дух католицизма, интерес к натурфилософии, идеализм, сумел передать своеобразие культуры своей страны и основные настроения эпохи, в которую он жил.

Начиная с 1997 г., в свет вышла целая серия переводов А. Штифтера: новелла «Кондор» (пер. Н. Фадеевой), роман «Бабье лето» (пер. С. Апта), сборник из трех новелл А. Штифтера «Полевые цветы», «Кондор», «Горный лес» (пер. Н. Федоровой). В 1990 г. была написана первая диссертация, посвященная позднему творчеству писателя (Полубояринова Л. Н. «Позднее творчество А. Штифтера» [6]). В 2005 г. появилась книга Н. Э. Сейбель «Австрийская параллель» [7], одна из глав которой также касается проблемы «мифологического времени» в произведениях писателя. Все чаще имя А. Штифтера упоминается на страницах книг, посвященных австрийской культуре, в научных статьях и в справочных изданиях. Меняется представление о значении этого автора в истории литературы, в которой он является связующим звеном между авторами позднего Просвещения и писателями-модернистами, а для австрийского литературного контекста – и постмодернистами (П. Розаем, П. Хандке, Г. Йонке).

Благодаря текстам А. Штифтера широкая читательская аудитория познакомилась с культурным контекстом австрийской и немецкой литературы второй трети XIX столетия, усвоила колорит посленаполеоновской эпохи и периода реставрации после 1848 г. В определенном смысле его фигура стала связующей между творчеством русских классиков пушкинской эпохи и представителями «высокого бидермайера», такими как Фр. Грильпарцер, А. фон Дорсте, Анетте фон Дросте-Хюльсхофф.

**Библиография:**

1. Австрийская новелла XIX века / Сост., вступ. статья и комментарий Т. Путинцовой. М., 1959. 704 с.
2. Кундера М. Занавес // Электронный ресурс Интернета: [http://webreading.ru/nonf\\_/nonf\\_criticism/milan-kundera-zanaves.html](http://webreading.ru/nonf_/nonf_criticism/milan-kundera-zanaves.html).
3. Михайлов А. В. Австрия // Памятники мировой эстетики в 5 томах. Т. 3. М, 1967.
4. Михайлов А. В. Варианты эпического стиля в литературах Австрии и Германии // Типология стилевого развития XIX века. М., 1977.
5. Михайлов А. В. Искусство и истина поэтического в австрийской культуре середины XIX века. М., 1997; Михайлов А.В. Проблемы анализа перехода к реализму в литературе XIX столетия // Языки культуры. М., 1997.
6. Полубояринова Л. Н. Позднее творчество А. Штифтера: дисс. канд. филол. наук. Л., 1990. 280 с.
7. Сейбель Н. Э. Австрийская параллель: А Штифтер, Г. Брех, Р. Музиль: монография. Челябинск, 2005. 321 с.
8. Adalbert Stifter. Ein Gedenkbuch / Hrsg. von der Adalbert Stifter-Gesellschaft mit Geleitwort von H. von Hofmannstahl. Wien, 1928. 95 S.
9. Baumer F. Adalbert Stifter. München, 1989. 139 S.
10. Loschakova G. Die Rezeption des Schaffens von Adalbert Stifter in Russland // Jahrbuch der Österreichbibliothek in St. Petersburg. Österreichische Literatur: Zentrum und Peripherie. СПб., 2007. S. 73-82.
11. Roedl U. Stifter. Bern, 1958. 175 S.
12. Rosei P. Versuch, die Natur zu kritisieren. Essays. Salzburg, Wien, 1982. 123 S.
13. Schmidt A. Der sanfte Unmensch: unverbindliche Betrachtungen eines Überflüssigen. Fr. am M., 1963. 156 S.

## НАПОЛЕОН В АМЕРИКЕ: СОВРЕМЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ НАПОЛЕОНОВСКОГО МИФА

М. К. Бронич

Нижегородский государственный лингвистический  
университет им. Н. А. Добролюбова

Статья посвящена особенностям формирования наполеоновского мифа в США и его современной реконструкции на примере романа Шэннон Селин «Наполеон в Америке». Показано, что альтернативная модель истории Наполеона в Америке представляет собой транспонирование реально состоявшихся исторических событий в удобную систему координат, иллюстрирующую неизбежность аннексии Техаса и всего внешнеполитического курса США, сформулированного в доктрине Монро.

**Ключевые слова:** Наполеон, альтернативная история, роман-обозрение, доктрина Монро.

**Napoleon in America: Modern Reconstruction of the Napoleonic Myth**

M. K. Bronich

Linguistic University Nizhny Novgorod

The article is devoted to the peculiarities of the formation of the Napoleonic myth in the USA and its modern reconstruction on the example of the novel *Napoleon in America* by Shannon Celine. It is shown that an alternative model of the history of Napoleon in America is a transposition of real historical events into a convenient coordinate system illustrating the inevitability of the annexation of Texas and the entire US foreign policy course formulated in the Monroe doctrine.

**Keywords:** Napoleon, alternative history, novel review, Monroe doctrine.

*История точно так же, как теология или естественные науки, – особая форма мысли.*

Дж. Коллингвуд

22 июня 1815 г. Наполеон Бонапарт вторично (после весны 1814 г.) отрекся от престола в пользу своего малолетнего сына и направился к порту Рошфор, где стояли два фрегата, готовые к отплытию в Америку. Однако блокировавшая гавань английская эскадра не позволила им выйти в море, и бывший император вверил свою судьбу английскому капитану [1, с. 381-383]. А 5 мая 1821 г. Бонапарт умер в ссылке на о. Св. Елены. Его смерть совпала с периодом времени, когда уходили из жизни последние представители поколения основателей независимого государства на североамериканском континенте, в США обосновались многие генералы и офицеры наполеоновской

армии, и в первую очередь, брат Наполеона, бывший король неаполитанский и испанский, Жозеф, а в Латинской Америке разгорелось национально-освободительное движение, свергнувшее власть Испании. Все эти события оказали существенное влияние на характер восприятия личности Наполеона в Соединенных Штатах. Как и в ряде других стран, в США образ Наполеона становится средством осмысления своего прошлого, установления отличительных особенностей американского характера и проецирования будущего нации [5].

Особую роль в определении специфики наполеоновского мифа в Америке сыграла необычайно популярная в Западном полушарии многотомная биография Наполеона Бонапарта, изданная В. Скоттом в 1827 году. Под пером В. Скотта вырисовывается романтическая фигура Наполеона, себялюбивого и эгоистичного, но поражающего своей необычной судьбой, сначала вознесшей «*маленького капрала*» до властелина половины Европы, а затем низвергнувшей его до участи пленника на далеком острове в Атлантическом океане. В стремительном возвышении Наполеона английский писатель видит закономерную реализацию эгалитарных, демократических принципов Французской революции, с краткого обзора событий которой он начинает историю жизни своего героя. Наполеон предстает как человек, который сам себя сделал. Автор подчеркивает внутреннюю собранность и целеустремленность героя, его неустанное стремление к самосовершенствованию и самообразованию, жажду славы и веру в свое высокое предназначение [2, с. 197-198]. Пытаясь проникнуть в мир мыслей, чувств, внутренних побуждений тех или иных поступков этого «*выдающегося человека*» [2, с. 296], В. Скотт исходит из оценок его характера современниками, лично знавшими Бонапарта, причем как его сторонников, так и непримиримых противников. Одни, как генерал Ж. Ш. Пишегрю, когда-то преподававший математику в военной школе, в которой учился Наполеон Бонапарт, говорили, что он отличался «*несгибаемым характером и никогда не сворачивал с избранного пути*» [2, с. 198]. Другие отмечали его болезненную гордость, страх бесчестия, которые порождали приступы сильнейшего раздражения и гнева, его пристрастие к театральным эффектам, что нашло отражение и в его напыщенном литературном стиле прокламаций и мемуаров. Но, полагает В. Скотт, важнейшим качеством Наполеона, которое он неизменно подчеркивает наряду с «*беспокойным и*



могучим умом» [3, с. 274], была необычайная дальновидность в политических и особенно военных маневрах. Как показывает писатель, именно дальновидность и административный талант Наполеона-генерала способствовали установлению разумного и «относительно гуманного» [2, с. 297] порядка в завоеванном Египте. Однако исторические факты, с которыми вынужден считаться Скотт-историк, – восстание в Каире, унесшее жизнь тысяч французов, – заставляет Скотта-биографа признать, что немалую роль в поведении Наполеона играло непомерное тщеславие и жажда поклонения. Наполеон в походе на Восток рисуется не только как завоеватель, но и как носитель более высокой цивилизации, а потому зверства, творимые французскими солдатами, оправдываются законами войны и подаются как «ответные меры на жестокость турков» [2, с. 300]. Леденящий кровь рассказ о расправе французов над гарнизоном осажденной Яффы уравнивается умиротворяющими рассуждениями о том, что по природе своей Бонапарт был гуманен [2, с. 300]. А подробный анализ переворота 18 брюмера, сопровождаемый сетованиями по поводу установления деспотической власти Наполеона, завершается очередной попыткой найти, пусть с оговорками, но оправдательные аргументы:

*«Конечно же, история знает людей настолько благородных духом, что в служении своей родине не усматривали иной цели, кроме самого служения; однако подобные личности принадлежали иному, не столь циничному веку, и воспитывались на принципах бескорыстного патриотизма, который, вполне возможно, не связывался в восемнадцатом столетии ни с Францией, ни с Европой. Таким образом, мы можем принять как само собой разумеющееся, что Бонапарт стремился, в той или иной форме, найти собственную выгоду в служении своей стране, что мотивы его сочетали в себе патриотизм и желание добиться для себя больших высот; и остается рассмотреть, каким же наилучшим способом обе эти цели могли быть равно достигнуты» [2, с. 328].*

В дальнейшем В. Скотт склонен изображать Наполеона как жертву установленной им самим деспотической системы, при которой окружающие его льстецы и лакеи сводили на нет грандиозные планы преобразований в различных сферах общественной жизни, которые остались только на бумаге.

*«Но с той же прямотой, с которой история неизбежно осудит неумные амбиции этого удивительного человека, она также неизбежно отметит и тот факт, что его взгляды на усовершенствование империи отличались широтой, ясностью и стремлением к общественному благу; и мы полагаем, что вполне возможно, если бы страсть Наполеона к войне была не столь доминирующей чертой его характера, то ум и энергия Императора Наполеона в приложении к делам мирным позволили бы ему сделать для Франции столько, сколько когда-то удалось Императору Августу для Рима» [2, с. 425].*

Рассказывая о завоеваниях Наполеона в Европе, В. Скотт, верный принципу объективности изображения прошлого и нравственным критериям оценки исторических личностей, хотя и не может не отметить черты и поступки, которые снижают героический образ великого завоевателя, как, например, отсутствие благородства по отношению к поверженному врагу, тем не менее, не упускает случая указать на акты милосердия императора. В то же время, конечно, все действия Наполеона, направленные непосредственно против Великобритании и, в первую очередь, континентальная блокада, безусловно осуждаются, но довольно мягко, как неуместные и явно ошибочные [2, с. 446-447]. Однако, даже тогда, когда В. Скотт повествует о поражениях Наполеона, как, например, в «битве народов», он акцентирует внимание на его таланте военачальника, решительного и волевого [3, с. 204-205]. Оправдывая решения и действия британского правительства, заточившего Наполеона на о. Св. Елены, писатель глубоко сочувствует положению пленника [3, с. 367] и искренне оплакивает его смерть.

Созданный Скоттом образ Наполеона оказал колоссальное влияние на молодых американцев, современников писателя. Книга Скотта льстила им и тем, что новый этап мировой истории автор отсчитывал от Версальского мира 1783 г., т. е. окончательного признания Европой независимости Соединенных Штатов. Их покоряла целеустремленность и дерзновенность Наполеона, его жажда поиска и преобразования мира в интерпретации английского писателя, а также вера в свое высокое предназначение. Они проводили прямые параллели между этим героем «действия», как окрестил его У. Чаннинг [5], и отцами-основателями, воплотившими, как им представлялось, Американскую мечту,

ядро которой составляла идея свободы. Соблазн прямолинейного сравнения великого завоевателя современности с людьми, повернувшими историю страны в новое русло, смягчался нравственным императивом в сознании американцев, сформированном под воздействием пуританских традиций. Поэтому сопоставление неизбежно превращалось в противопоставление. Но не только. Так, если Т. Джефферсон, Дж. Вашингтон или Дж. Джей в этих сопоставлениях явно превосходили своим бескорыстием и благородством целей французского императора, то образ президента Э. Джексона, известного своими военными победами, был, можно сказать, повторением великого завоевателя, а его карьера, так же, как и возвышение Наполеона, трактовалась как свидетельство великих возможностей, заложенных в простом человеке [5].

Популярность Наполеона в Соединенных Штатах росла по мере их экспансии на Запад. Продажа Луизианы Наполеоном в 1803 г. почти в 1,5-2 раза увеличила территорию страны, и для американцев XIX века память об «избраннике судьбы» служила способом оправдания американской экспансии, во-первых, идеей предназначения, судьбы, а во-вторых, давала возможность противопоставления «мирного» продвижения на Запад ожесточенным завоеваниям французов [5]. К знаковой фигуре французского императора обращались в своих эссе и трактатах многие американские биографы, публицисты, мыслители, в числе их такие влиятельные, как У. Чаннинг и Р. У. Эмерсон. Фигура Наполеона появлялась в рассказе Н. Готорна «Переписка некоего П.» (1845). Однако после кровавой Гражданской войны между Севером и Югом звезда Наполеона в Америке закатилась.

И лишь в 2014 году, в преддверии годовщины Венского конгресса, определившего очертания постнаполеоновской Европы, вышел роман канадской писательницы Шэннон Селин «Наполеон в Америке», созданный в жанре альтернативной истории. 5 февраля 1821 г. Наполеон (за три месяца до своей фактической смерти), испытывая невероятные физические страдания, бежит на пиратском судне с о. Св. Елены, достигает берегов Америки и получает там убежище. Болезнь, благодаря не столько умелому вмешательству д-ра Форmento, сколько заклинаниям жрицы Вуду, отступает, и постепенно Наполеон, с почестями встречаемый своими бывшими сослуживцами, нашедшими пристанище в Соединенных Штатах, а также

американцами, от простых обывателей до представителей политической элиты, меняет принятое ранее решение жить как частное лицо и начинает строить далеко идущие планы создания новой империи, но уже на американском континенте.

Собственно, четко выстроенного сюжета в романе нет. Ш. Селин создает роман-обозрение, роман синопсический: фрагментарный текст состоит из жанровых зарисовок (домашние сцены в семьях Жана Лафита, Луи Лоре, Летиции Бонапарт или при дворе австрийского императора; беседы в светских салонах Доротеи фон Ливен или Жозефа Бонапарта; подготовки заговора бонапартистов в Париже, эпизоды ознакомительной экскурсии Наполеона в Нью-Йорк, Питтсбург, Цинцинатти, Нэшвилл и военного похода в Техас), а также газетной хроники, писем, записок, отрывков из дневников, в которых обсуждаются либо семейные и матримониальные проблемы семейства Бонапарт, либо, большей частью, вопросы геополитики. Причем, каждый фрагмент скрупулезно датирован. Действие охватывает период с февраля 1821 по март 1823 года и попеременно переносится из Европы (Лондон, Вена, Париж, Рим) в Америку и из Америки в Европу. Роман очень густонаселен, и фигура Бонапарта, строго говоря, структурно нужна для того, чтобы объединить столь разных по своему социальному статусу, национальной принадлежности, судьбам и устремлениям персонажей вокруг проблемы, которая выдвигается на первый план: доктрина Монро как основополагающий принцип внешней политики США.

В «европейских» эпизодах романа дискутируется возможность и необходимость интервенции Франции с благословения Священного союза в охваченную революцией Испанию, а в «американских» – начавшееся восстание в Мексике, объявившей независимость от Испании. Бытует мнение, что часть мексиканских восставших предложило корону императора Мексики бывшему королю Испании Жозефу Бонапарту, жившему с 1817 г. в Соединенных Штатах, но последний отказался от нее. На контрасте миролюбивого, склонного к компромиссу, домашнего, «похожего на английского сельского джентльмена» [4, с. 45] Жозефа и жаждущего военной славы властолюбца Наполеона выстраивается внутренняя линия развития романа, связанная с подготовкой доктрины Монро, импульсом к формированию которой послужили

события в Мексике, пронизательно прокомментированные императором:

*«Если жителям этой страны удастся добиться независимости от Испании, она будет иметь для Соединенных Штатов гораздо большее значение, чем вся остальная Испанская Америка» [4, с. 43].*

Не скрывая своих экспансионистских планов, Наполеон организывает захватническую экспедицию в Техас, в изображении которой используются образы его былых походов – европейских и африканских. Она сопровождается такой же высокопарной риторикой освобождения народа, кровавыми расправами с сопротивляющимися жителями захваченных мексиканских поселений, мародерством и грабежами. Военная экспедиция Наполеона в Техас по времени совпадает с началом в 1821 г. массовых захватов плантаторами Юга техасских земель. В книге Ш. Селин происходит удивительная, но закономерная перестановка политических акторов и подтасовка фактов. Захватчиком выступает Наполеон, который якобы действует в интересах франкоязычных жителей Луизианы и переселившихся в Соединенные Штаты наполеоновских офицеров, так как его цель создание на малоосвоенных территориях Техаса Новой Франции колонии для своих верных соратников, вынужденных покинуть Европу и оказавшихся в непростом материальном положении. Причем, план захвата Техаса Наполеону предлагает, и это симптоматично, пират Лафит, ссылаясь на незначительное население территории, отсутствие реальной власти и бесчинства индейцев.

Американские же политики всеми силами пытаются воспрепятствовать предприятию Наполеона, демонстрируя благородство помыслов и выступая сторонниками самоопределения освободившихся от колониальной зависимости стран, но то и дело проговариваются, когда речь заходит о Техасе: и земли там плодородны, и условия для выращивания кофе там благоприятные, и морские бухты чрезвычайно удобные для контроля над Мексиканским заливом. А герцог Веллингтон прозорливо замечает, что действия Наполеона *«могут просто предоставить американскому правительству благоприятную возможность ограбить Испанию или Мексику, в зависимости от обстоятельств» [4, с. 200].*

На страницах романа появляются такие видные политические деятели, вершители судеб США, как госсекретарь США Джон Квинси Адамс, сенатор Генри Клей, президент Второго банка Соединенных Штатов Николас Биддл, бывший конгрессмен и видный филадельфийский адвокат Джозеф Хопкинсон, окружной прокурор Пенсильвании Чарльз Ингерсол, президент Джеймс Монро. В их дневниках, письмах, беседах, с одной стороны, вырисовываются контуры политической доктрины США, а с другой, дается оценка высоких моральных качеств американских политиков, столь разных по своим политическим взглядам, но объединенных общей целью «служения благу народа» [4, с. 61]. Выбор именно этих исторических лиц мотивируется тем, что все они, кроме президента, бывали в имени Жозефа Бонапарта Пойнт Бриз, где, согласно фабуле романа, дается прием в честь празднования пятидесятидвулетия Наполеона. Именно здесь идет сопоставление сдержанных манер и доброжелательности представителей американской элиты с беспардонным на грани грубости поведением Наполеона, который пытается, правда, безуспешно, убедить высокопоставленных гостей в том, что все его действия, включая колоссальные человеческие жертвы, были продиктованы высокими целями объединения Европы. В то время как для верхушки американского общества Наполеон – бывший деспот, который, однако, не сможет реализовать свои тиранические наклонности в стране всеобщей демократии. Как говорит Г. Клей:

*«Бонапарт будет совершенно безобиден среди нас: здесь император – не более чем один из рядовых граждан, не обладающей даже самой малой толикой монархической или иной представляющей угрозу самоличной власти»* [4, с. 67].

Образ Наполеона-деспота соотносится с Бурбонами в частности, и со всей авторитарной монархической системой Европы в целом. Противовесом им выступает образ Америки, который строится как автостереотип. Америка представлена как сообщество свободных, самодостаточных индивидов, способных защитить себя от любых посягательств на свою свободу и систему либеральных ценностей. Характерная для автостереотипа аксиологичность носит резко оценочный характер, все сведено к категоричному шаблону высоконравственной и высокоцивилизованной нации. Причем, восторженные характеристики страны звучат из уст как

американцев, которые не устают повторять, что Америка самая свободная и благословенная страна, так и европейцев. В роли основного панегириста выступает Жозеф Бонапарт: Америка – это страна «высочайшей цивилизации» [4, с. 104], где «даже обычный гражданин наслаждается счастьем истинной свободы и полного равенства» [4, с. 73]; страна, «чьи законы и жители являются самыми гостеприимными в мире» [4, с. 79]; здесь каждый «может наслаждаться преимуществами мудрого государственного устройства и по-настоящему свободного общества» [4, с. 106]; американцы – «самый доброжелательный народ» [4, с. 163] и т.д.

«Свобода» (*liberty*) – наиболее частотное слово в «американских» эпизодах. Оно становится навязчивым в беседах политических деятелей, особенно когда речь идет о Латинской Америке, для которой США, согласно высокопоставленным американским политикам, должны стать гарантом свободы, о чем в изящной дипломатической форме сообщает Адамс на запрос посла Испании о признании Соединенными Штатами новых независимых государств [4, с. 129-131]. Истинную же причину признания озвучивает Наполеон:

*«Колониальная система подходит к своему концу. Даже Англии следует задуматься о том времени, когда её колонии обретут самостоятельность, и воспользоваться текущим моментом для налаживания более выгодных отношений. Именно это и сделали Соединенные Штаты, признав государства Испанской Америки. Им трудно скрыть, что, на самом деле, им нужны торговые связи. Сейчас в Штатах больше собственного хлопка и сахара, чем требуется им самим, и нет возможности вывозить свою продукцию в новые страны. Им предстоит жестокая борьба с Европой за возможность осуществлять сбыт своих мануфактурных товаров»* [4, с. 156].

Любопытно, как в романе мотивируется необходимость дипломатических и политических мер, которые позже воплотились в доктрину Монро. Известно, что поводом для принятия доктрины послужили маловероятные слухи о якобы готовящейся Священным союзом экспедиции в Центральную Америку для подавления национально-освободительных движений в испанских колониях. В романе угроза европейской интервенции в Америку обыгрывается многократно. Сначала в беседе президента Монро с госсекретарем Адамсом о

двусмысленном положении, в котором оказалось американское правительство из-за прибытия Наполеона в страну, поскольку французский посол уже намекнул Адамсу о возможной европейской интервенции для захвата беглеца [4, с. 54]. Затем в газетных сообщениях о готовящемся походе и внутренних разногласиях его участников, и, наконец, во внутреннем монологе Дж. К. Адамса, который не сомневается в том, что авантюра Наполеона непременно заставит Священный союз помочь Испании восстановить господство над Мексикой, и «*вся Европа может нагряться в Америку*» [4, с. 207]. Завершает тему обсуждение последствий для США политической ситуации в Европе в связи с событиями в Испании, в котором принимают участие президент Монро, госсекретарь Адамс и военный министр Кэлхун [4, с. 290-291]. Непосредственно основные положения доктрины формулируются устами Жозефа, пытающегося отговорить Наполеона от его опасной затеи:

*«Правительство Соединенных Штатов может быть совершенно уверено в том, что мы не имеем никакого отношения к планам, имеющим целью восстановить испанские колонии против собственной метрополии или возмущать спокойствие тех народов, которые добились независимости»* [4, с. 125].

Обращение к образу Наполеона в романе Ш. Селин соответствует сложившейся на континенте традиции противопоставления агрессивных устремлений французского императора исключительно миролюбивым и гуманным целям американского политического истеблишмента. Не случайно последняя глава книги, у которой, как обещает писательница, будет продолжение, озаглавлена «*Конечно, война*», а провозглашение независимости Техаса – дело рук Наполеона. Фигура Наполеона оказалась чрезвычайно удобной для лицеприятной интерпретации не только исторических событий прошлого, но и настоящего. Иной вариант судьбы Наполеона не повлиял на дальнейший ход истории, а стало быть, и на судьбу обычного человека, частного лица. В романе вообще нет частных лиц, нет и попыток проникнуть в психологию исторических персонажей. Здесь в качестве действующих лиц выступают даже не исторические политические деятели, а государства, представители которых являются рупорами тех или иных стратегических интересов в мировой политике. А альтернативная история Наполеона



прочитывается как проекция реализации американских принципов силовой политики в глобальном масштабе.

**Библиография:**

1. *Тарле Е. В.* Наполеон. М.: Наука, 1991. 464 с.
2. *Scott W.* Life of Napoleon Bonaparte. Vol. I. Honolulu, Hawaii: University Press of the Pacific, 2003. 494 p.
3. *Scott W.* Life of Napoleon Bonaparte. Vol. II. Honolulu, Hawaii: University Press of the Pacific, 2003. 414 p.
4. *Selin Sh.* Napoleon in America. Vancouver: Dry Wall Publishing, 2014. 303 p.
5. *Ehlers M.* Napoleon's Ghost, Napoleonic Memory and Popular Culture in Early America // [Электронный ресурс] URL: <http://www.napoleonicsociety.com/english/pdf/j5ehlers.pdf>

## «ПОСЛОВИЦЫ РУССКОГО НАРОДА» В. И. ДАЛЯ ОБ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 Г.: ЛИНГВО- ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

М. А. Грачев

Нижегородский государственный лингвистический  
университет им. Н. А. Добролюбова

В статье анализируются пословицы об Отечественной войне 1812 года, зафиксированные в словаре В. И. Даля «Пословицы русского народа». Данные лингвистические единицы рассматриваются с лингвистической, литературной и исторической точек зрения. Все пословицы о войне 1812 года включены В. И. Далем в «Толковый словарь живого великорусского языка».

**Ключевые слова:** пословица, происхождение, народ, война, справедливость, предложение.

*Proverbs of the Russian People by V. I. Dal about the Patriotic War of 1812:  
Linguistic, Literary and Historical Aspect*  
M. A. Grachev  
Linguistic University Nizhny Novgorod

The article analyzes the proverbs about the Patriotic War of 1812, recorded in the dictionary of V. I. Dal *Proverbs of the Russian people*. These linguistic units are considered from linguistic, literary and historical points of view. All proverbs about the War of 1812 are included by V. I. Dahl in the *Explanatory Dictionary of the living Great Russian language*.

**Keywords:** proverb, origin, people, war, justice, sentence.

В. И. Даль начал свою научную работу в Нижнем Новгороде с качественного анализа пословиц и поговорок, собранных им ранее. Следует также заметить, что в волжской столице он значительно пополнил материал нижегородскими афоризмами. А всего он включил в сборник «Пословицы русского народа» 30 170 единиц. В Нижнем Новгороде он выработал систему создания сборника. В основном, это афоризмы живой речи, собранные В. И. Далем; меньшую часть составляют крылатые выражения из Священного Писания, художественной литературы и проч.

Пословицы, использованные в книге, были понятны в XIX в. всему народу. Лексикограф подчеркивал:

*«Что за пословицами и поговорками надо идти в народ, в этом никто спорить не станет», так как просвещенное общество не использует русских пословиц! И кто же станет поминать в*

*хорошем обществе борону, соху, ступу, лапти, а тем паче рубаху и подоплеку?».*

В связи с этим он сетовал на антинародность просвещения:

*«У нас же, более чем где-нибудь, просвещение – такое, какое есть – сделалось гонителем всего родного и народного»* [1. Т. 1. С. 10-11].

Большинство единиц фольклора В. И. Даль собрал непосредственно, наблюдая за их употреблением в живой речи.

«Пословицы русского народа» вышли как раз в знаменательный период времени – пятидесятилетие Отечественной войны – 1862 год. В книгах содержится сорок две пословицы и поговорки об Отечественной войне 1812 года.

Доказательством тому, что данные афоризмы были придуманы во время наполеоновского нашествия, является конкретное указание самого автора (В. И. Даля) на дату – 1812 г. Мы также предполагаем, что ряд пословиц, бытовавших до 1812 года, был актуализирован и стал чаще употребляться в народе именно в 1812 и последующих годах. Другим доказательством появления крылатых фольклоризмов является их семантика: упоминание о французах, их враждебных действий, отпор со стороны России и т.п.

Во всех крылатых выражениях имеется резкое негативное отношение русского народа к «просвещенной Европе», к двенадцати языкам», особенно к их предводителю – Наполеону Бонапарту. Не случайно его называли антихристом (см., напр., роман-эпопею Л.Н. Толстого «Война и мир»).

Для того чтобы принизить француза-захватчика, русский народ использует отрицательные аллегорические образы животных и птиц, их три: волк, ворона, гусь.

Наиболее часто фигурирует образ вороны. Это, во-первых, реальная пища французов (*голодный француз и вороне рад*), во-вторых, символ простофили и, в целом, – отрицательный образ человека (см.: *попался, как ворона в суп* (1812) (Судьба-Терпение-Надежда). Данная пословица создана по формуле: «*Попал, как кур в ощиц*», поздний вариант: «*Попал, как кур во щи*». Кур – старинное название петуха, *ощиц* – устаревшее отглагольное существительное (от *ощипать*). Ещё о переменчивости судьбы французской армии: *клевала ворона хлеб в осень, а сама попала в осил* (т.е. в петлю) – счастье-удача. Простофильство: *не умела*

*ворона сокола ощипать* (из предания, будто атаман Платов был в гостях у неприятелей французов, и, отъезжая, сказал это) – ученье-наука. *Как голодный француз, как голодный волк. Ты плутоват, а я узловат. Ты сер, а я, приятель, сед* – неправда-обман (вторая часть пословицы пришла из басни «Волк на псарне» И. А. Крылова). *Пуганый француз и от козы бежит* (с 1812 г.) – кара-милость. Анекдотичный случай про французов, смертельно боящихся казаков, зафиксированный в ряде литературных произведений и печати. Несколько французов попросили хозяйку напоить их молоком. Та ответила: «Сейчас козу подою!». Те бросились бежать с криками: «О! Не надо *kasak*, не надо *kasak*!».

Часть пословиц перекликается с творениями классиков, например, с произведениями И. А. Крылова, М. Ю. Лермонтова:

*«Ты сер, а я, приятель, сед  
И волчью вашу я давно натуру знаю»*  
(басня И. А. Крылова «Волк на псарне»);

*«И пришёл с грозой военной трёхнедельный удалец  
И рукою дерзновенной хватать за вражеский венец!  
Но улыбкой роковую русский витязь отвечал  
Посмотрел – потрянул главою –  
Ахнул дерзкий – и упал!»*

(стихотворение М. Ю. Лермонтова «Два великана»);

*«И думал: «Угощу я друга! Постой-ка, брат мусью!»*  
(стихотворение М. Ю. Лермонтова «Бородино).

В. И. Даль не стал включать народные афоризмы, характеризующие русских полководцев с отрицательной стороны. Например, *Болтай-да-и-Только* – название генерал-фельдмаршала Михаила Богдановича Барклая де Толли – командующего Первой армии и военного министра. Так его прозвали солдаты за его якобы медлительность, заманивающую тактику и нежелание дать генеральное сражение. Заметим, именно данная методика ведения войны с Наполеоном и спасла русскую армию. В. И. Даль был настолько корректным, что не стал употреблять этот фольклоризм, как и многие другие

крылатые народные выражения о полководцах, так как считал, что победителей 1812 года не судят, а судят побеждённых, т. е. французов. И ещё: были определённые опасения, что «Пословицы русского народа» могут забраковать и во второй раз.

Вторая группа характеризует действия русской и французской армий, а также их состояние. Знаменитая поговорка *нашествие двенадцати языков* (1812 г.) (драка-война) пришла в русский народ от духовенства. Во всяком случае, на эту указывает устаревшая форма *двенадцать*, характерная для древнерусского языка и широко употребляемая в церковных текстах. На самом деле в войске Наполеона присутствовали представители 35 народов. В поговорке *наступил на землю русскую, да отступился* (1812) (счастье-удача) наблюдается игра слов: (*наступление* (военное) и *наступить* (на что-л. или кого-л.)). Любопытными являются по своей значимости следующие пословицы: *отогрелся в Москве, да замёрз в Березине* (1812) (счастье-удача). Здесь явно содержится намёк на пожар в Москве, устроенный французскими солдатами, а также разгром и гибель армии в ноябре при переправе через Березину благодаря действиям русских воинов и холодов); под статью этому фольклоризму и четыре других поговорки - *сам себя сжёт француз, сам и поморозил* (вина-заслуга), *замёрз, как француз; замороженный француз* (народ-язык); *это суцья переправа через Березину* (горе-беда) (вероятно, так говорили русские люди во время каких-либо природных и искусственных катаклизмов, вспоминая при этом и катастрофу французов); *под Малым Ярославцем (т.е. во время сражения) вся земля дрогнула* (1812 г.) (драка-война) (известно, что под Малоярославцем произошла кровопролитная битва: город шестнадцать раз переходил из рук в руки, было задействовано с обеих сторон большое количество артиллерии). О том, что французские солдаты были профессиональными воинами, свидетельствует пословица *на латника по ратнику* (1812 г.) (драка-война) (т. е. на профессионального наполеоновского воина приходился необученный русский ратник). Об участии в армии Наполеона других народов свидетельствует поговорка *позабыли немцы двенадцатый год* (признательность) (известно, что в армии Наполеона немцы составляли большую часть).

Третья группа пословиц связана с действиями партизан: *я тебя, как француза, живём закопаю* (воспом. 1812) (кара-

ослушание). Эта поговорка свидетельствует о ненависти крестьян к захватчикам; *докалывай француза вилами!* (драка-война); *на француза и вилы ружьё* (1812 г.) (народ-язык).

Четвёртая группа крылатых выражений обозначает гуманизм русского человека по отношению к врагу: *лежачего не бьют. Аман да пардон уважай* (горе-обида), *на пардон, на аман у русского и слова нет* (русь-родина).

Пятая группа пословиц и поговорок лишь упоминает о французских захватчиках. Среди сорока двух пословиц и поговорок имеется одна побасенка, в которой захватчики лишь упоминаются, см.: *Где шатался? – На базаре, всё про французов слушал! – Что ж? – Да далече стоял, не слышать было* (1812 г.) (толк-бестолочь).

В пословицах, посвящённых Отечественной войне 1812 года, В. И. Даль привёл языковую картину мира русского народа, который состоял из многочисленных социальных групп. Несомненно, в них имеются и противоречивые взгляды на некоторые реалии. Но в целом, в «Пословицах русского народа» передано основное и вполне справедливое видение российским социумом наполеоновского нашествия. Заметим также, что все пословицы и поговорки о французской армии имеют исключительно отрицательную коннотацию.

В. И. Даль не использовал воинские (солдатские и офицерские) пословицы и поговорки: *приехал Кутузов – бить французов*, крылатым выражение участника Отечественной войны, гусара, поэта Дениса Давыдова – «*Жомини да Жомини, а об водке – ни полслова!*» (1817 г.). Антуан Анри Жомини – знаменитый наполеоновский генерал, швейцарец по происхождению, перешедший в 1813 году на службу к Александру I. По мнению Наполеона Бонапарта, он не совершил предательства, так как был подданным Швейцарии. А. А. Жомини написал многотомный труд «*Рассуждение о великих военных действиях, или Критическое и сравнительное описание походов Фридриха и Наполеона*», который в 1809-1817 гг. переводился на русский язык и широко обсуждался в русской военной среде.

Любопытен синтаксический аспект пословиц и поговорок. Ряд из них представляют простые предложения, см. примеры: *наступил на землю русскую, да оступись* (1812) (счастье-удача), *молода, в Саксонии не была* (солдатск.) (народ-язык), *пуганный*

*француз и от козы бежит* (с 1812 г.). (кара-милость). Иногда в простых предложениях встречается инверсия, см.: *не умела ворона сокола оципать* (ученье-наука); *позабыли немцы двенадцатый год* (признательность).

Несомненно, все пословицы и поговорки являются обобщённо-личными предложениями. По своей внешней структуре они являются:

- а) номинативными (*нашествие двенадцати языков* (1812 г.) (драка-война); *это суцая переправа через Березину* (горе-беда);
- б) определённо-личными (*докалывай француза вилами!*; *аман да пардон уважай* (горе-обида) (драка-война);
- в) неопределённо-личные (*в Бородинском полку носят шапки на боку*) (щегольство).

В составе простых предложений имеются сравнения, чаще с союзом *как*: *пропал (сгинул), как француз в Москве* (поиск-находка); *замёрз, как француз* (народ-язык); *я тебя, как француза, живьём закопаю* (воспом. 1812) (кара-ослушание). Как видим, неопределённое лицо сравнивается исключительно с французом.

Среди предложений часто встречаются противопоставления, см. примеры: *клевала ворона хлеб в осень, а сама попала в осил* (т.е. в петлю) (счастье-удача), *ты плутоват, а я узловат*; *ты сер, а я приятель сед* (неправда-обман); *отогрелся в Москве, да замёрз в Березине* (1812) (счастье-удача).

Из всего сказанного можно сделать вывод, что простой русский народ хорошо понимал ужасы наполеоновского нашествия: его бесчинства над мирными жителями, изнасилование русских женщин, глумление над верой.

Все пословицы о войне 1812 года были включены В. И. Далем в качестве иллюстративного материала в «Толковый словарь живого великорусского языка».

### **Библиография:**

1. *Даль В. И.* Пословицы русского народа. Сб.: в 2 т. М., 1984.

## ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА НАПОЛЕОНА В ПРОЗЕ СТЕНДАЛЯ

М. Е. Ерышева

Нижегородский государственный лингвистический  
университет им. Н. А. Добролюбова

В статье рассматривается реализация семантических составляющих образа Наполеона в произведениях Стендаля разных жанров и периодов творчества, анализируется влияние писателя на создание «наполеоновского мифа».

**Ключевые слова:** психологическое направление в литературе, художественный образ, новелла, лейтмотив, историзм, Наполеон, Стендаль.

The Evolution of the Image of Napoleon in Stendhal's Prose

M. E. Yerysheva

Nizhny Novgorod Linguistic University

The article examines the implementation of the semantic components of the image of Napoleon in the works of Stendhal of different genres and periods of creativity, analyzes the influence of the writer on the creation of the Napoleonic myth.

**Keywords:** psychological direction in literature, artistic image, short story, leitmotif, historicism, Napoleon, Stendhal.

Личность Наполеона и его эпоха вызывают интерес у историков и литературоведов, являясь сложным и до конца не изученным явлением. Фредерик Стендаль был младшим современником Наполеона Бонапарта, упоминания императора и его правления характерны практически для всех произведений писателя, как художественных, так и исторических. Вопрос об оценке такой масштабной по исторической значимости личности как Наполеон другой, не менее неординарной, представляет собой особый интерес.

Доподлинно известно, что в 1800 г. Стендаль в возрасте семнадцати лет вступил в армию Наполеона, где служил в чинах лейтенанта, драгунского офицера и военного интенданта. Помимо участия в русской кампании (в ходе которой Стендаль был в Москве, Смоленске, Могилеве, на переправе через Березину), писатель нередко работал в одном кабинете с императором, лично беседовал с ним [1].

Воспоминания об ужасах отступления французской армии сохранились в его исторических трудах – «Жизнь Наполеона» (*Vie de Napoléon*, 1818), «Воспоминания о



Наполеоне» (*Mémoires sur Napoléon*, 1838), которые Стендаль создает в Италии, куда переезжает после падения императора. Как отмечает Л. И. Вольперт, в произведениях этого цикла – «значительный вклад в создание апологетического наполеоновского мифа», Наполеон выступает как «грандиозная фигура, титаническая и загадочная, окруженная сиянием тайны» [2].

Однако при всей значимости в историко-биографических произведениях, образ Наполеона не менее важен и в романном творчестве, где он несет функцию раскрытия характера главного героя, как в романах «Красное и черное» и «Пармская обитель». На относительной периферии, относясь к общему историко-культурологическому контексту (единичные упоминания, метафоры, каламбуры), эта историческая фигура присутствует в романе «Люсьен Левен» (известном также как «Красное и белое»), а также в новеллах на итальянские темы.

Первый, самый поверхностный пласт функционирования образа – это его использование как своеобразного исторического ориентира. Так, описывая эпоху Реставрации в предисловии к роману «Арманс», Стендаль уподобляет родовитых молодых людей Наполеону, перед которым, как и перед нотариусом из оперы Паизиелло «Прекрасная мельничиха», встает выбор:

*«Si batte nel mio cuore  
L'inchiostro e la farina?»* [6, с. 7-8].

Таким образом, используя данную метафору, автор говорит о требуемом от своих современников большем дерзновении и стойкости, нежели во времена революции, ибо

*«Il faut de l'économie, du travail opiniâtre, de la solidité et l'absence de toute illusion dans une tête, pour tirer parti de la machine à vapeur»* [6, с. 7] –

*«Чтобы извлекать выгоду из паровой машины <иными словами, чтобы воспользоваться дарованными Революцией свободами – прим. автора>, нужно быть человеком расчетливым, трудолюбивым, благоразумным и совершенно лишенным всяких иллюзий»* [3, с. 3],

– что порой представляет собой не меньшую трудность, чем изобретение этой самой машины.

Таким образом, в данном и подобных упоминаниях фигура Наполеона дистанцируется от современной Стендалю

эпохи и скорее воспринимается как некий романтизированный идеал. К данному употреблению тесно примыкает использование персоналии в различных шуточных контекстах, метафорических восклицаниях и проч.:

*«Quelle gloire! Mon âme sera bien attrapée lorsque je serai présenté à Napoléon, dans l'autre monde»* (слова Люсьена Левена) [10, с. 25];

*«Ne dirait-on pas, se disaient les vieilles moustaches, que nous allons passer la revue de Napoléon?»* [10, с. 592].

С иронией Стендаль комментирует тенденцию современных ему иезуитских учебников называть Наполеона г-м де Буонапарте, таким образом подчеркивая его итальянское происхождение:

*«Весь вечер Валентина пребывала в глубокой задумчивости. В благородном монастыре \*\*\* ум ее старательно притупляли чтением одобренных газетой Quotidienne учебников, в которых Наполеон именовался господином де Буонапарте. Пожалуй, нам не поверят, но, право же, она оказалась бы в очень затруднительном положении, если бы ее спросили, не был ли когда-то этот маркиз де Буонапарте генералом Людовика XVIII»* [4, с. 29].

Более глубинный смысловой пласт, связанный с личностью Наполеона, актуализируется при его тесной взаимосвязи с центральными образами героев, как в романах «Красное и черное» и «Пармская обитель». Так, Наполеон является идеалом юношеских мечтаний Жюльена Сореля, который черпает свои знания о мире и взаимоотношениях между людьми из «Мемориала св. Елены»:

*«Certaines choses que Napoléon dit des femmes, plusieurs discussions sur le mérite des romans à la mode sous son règne lui donnèrent alors, pour la première fois, quelques idées que tout autre jeune homme de son âge aurait eues depuis longtemps»* [9, с. 74].

При этом свою склонность он оберегает с необыкновенной осторожностью, подчас преувеличенно опасаясь разоблачения (см. находку г-жи де Реналь в комнате Жюльена, разговор о балете «Манон Леско» с г-жой де Фервак). Нередко и сам герой сравнивается с Наполеоном, правда, в несколько ироничном контексте:

*«Ce Sorel a quelque chose de l'air que mon père prend quand il fait si*

*bien Napoléon au bal»* [9, с. 336] –

либо сам пытается уподобиться ему:

*«C’était la destinée de Napoléon, serait-ce un jour la sienne?»* [9, с. 87].

Однако наибольшую значимость фигура императора имеет в раскрытии тщеславия как одной из главных составляющих характера героя. При этом романтизированный и несколько устаревший (действие в романе происходит в 1820-е гг.) идеал Жюльена резко контрастирует со взглядами французской провинции, которые, впрочем, по степени своей реакционности не слишком отличаются от парижских. Именно благодаря этому эпизоды, связанные с упоминанием Наполеона, имеют зачастую комический оттенок (см. главу XVIII *Un roi à Verrières*), при этом ирония двунаправлена: она затрагивает как несвоевременность мечтаний героя, так и открытую враждебность знати по отношению к республиканским идеалам.

Второй роман Стендаля о Реставрации, «Пармская обитель» (1839), имеет несколько другой ракурс рассмотрения данного образа. Имя Наполеона воспринимается как синоним свободы, ибо Италия была временно освобождена императором от австрийского владычества:

*«Il <Napoléon> entra dans Milan: ce moment est encore unique dans l’histoire; figurez-vous tout un peuple amoureux fou»* [8, с. 27].

Как и в путевом очерке «Рим, Неаполь и Флоренция» (1817), в ряде отступлений в первой главе романа дана высокая оценка роли Наполеона в национальном и культурном самосохранении Италии. Впрочем, в романе образ Наполеона имеет значение не только персоналии, определяющей эпоху, но и сюжетобразующей пружины: с детства увлеченный императором, Фабрицио покидает родину, чтобы присоединиться к его армии. Однако после разоблачения в нем иностранца его мгновенно арестовывают:

*«Fabrice n’avait nulle envie de conspirer: il aimait Napoléon, et, en sa qualité de noble, se croyait fait pour être plus heureux qu’un autre et trouvait les bourgeois ridicules»* [8, с. 194].

За этим следует эпизод описания боя, однако герой не узнает ни императора, ни маршала Нея, что само по себе является гротескной ситуацией, разоблачающей иллюзорность

юношеских увлечений Фабрицио. Это усиливается внутренним монологом графини д'А\*\*\*, которая, подобно г-же де Реналь и Матильде, воображает военные успехи своего возлюбленного:

*«Elle se disait que Napoléon, voulant s'attacher ses peuples d'Italie, prendrait Fabrice pour aide de camp»* [8, с. 197].

Однако сюжетообразующая роль данного образа не столь сильна, как в романе «Красное и черное», имеет функциональную значимость лишь в описании перипетий в юношеские годы героя.

Таким образом, в более позднем романе о Реставрации образ Наполеона и отношение к нему героев приобретает более ироничный оттенок, ослабляется его композиционная роль, а сами герои в значительной степени от него дистанцируются.

Наконец, особого внимания заслуживает незаконченная биография Наполеона (*Vie de Napoléon*, 1818), написанная Стендалем в ответ на участвовавшие в 1817-1818 гг. нападки ультрареакционеров и либералов.

В предисловии автор снимает с себя всякую ответственность за достоверность фактов, приводимых в издании, ибо:

*«Les auteurs de cette Vie en 300 pages in-8° sont deux ou trois cents. Les rédacteur n'a fait que recueillir les phrases qui lui ont semblé justes»* [11, с. 3].

Эта установка дает возможность не вводить ссылки на биографические источники, поэтому повествование строится как очерк, разбитый на большое количество эпизодов. При этом объективные сведения перемежаются с противоречивыми характеристиками: при общей хвалебной интонации, присутствуют крайне негативные оценки, такие как *«despote»*, *«tyran»*, *«malfaitteur»*. Апелляция к массовому сознанию, данная в предисловии, реализуется путем введения большого количества анекдотических эпизодов с размытыми границами авторства (см. описание мольбы Жозефины о помиловании герцога Энгийенского в гл XXXI). Можно говорить о некоторой степени мифологизации фигуры Наполеона в данном труде, но при всей разнородности приведенных точек зрения, главенствует единая позиция:

*«Le grand homme est comme l'aigle, plus il s'élève, moins il est*

*visible, il et puni de sa grandeur par la solitude de l'âme» [7, с. 70].*

Разнородность оценок личности императора свидетельствует об эволюции восприятия его писателем, для которого, как и для его героя Жюльена Сореля, была характерна юношеская увлеченность гением Наполеона.

Данная эволюция прослеживается, в первую очередь, в различной функциональной значимости образа: от героико-патетической до иронической. При этом спектр реализуемых функций во многом зависит от жанровой принадлежности текста: наиболее глубоко образ Наполеона раскрывается в исторических Стендаля («Жизнь Наполеона», «Рим, Неаполь и Флоренция»), наименее характерно он проступает в произведениях мелких жанровых форм (см. новеллу «Федер»).

Однако наиболее тонкое художественное воплощение личность Наполеона получила в двух крупнейших романах писателя – «Красное и черное» и «Пармская обитель», которые вместили в себя неоднозначность оценок современников и авторского отношения к ней. Юношеский «бонапартизм» Фабрицио и Жюльена Сореля противопоставляется открыто антигосударственным взглядам их окружения, а следовательно, при всей нелепости и несвоевременности позиции героев, в романах отсутствует какой-либо альтернативный идеологический ориентир, что изобличает политический и моральный «вакуум» Реставрации, современником которой являлся Стендаль.

### **Библиография:**

1. Виноградов А. К. Стендаль и его время. М.: Молодая гвардия, 1960. 368 с.
2. Вольперт Л. И. Лермонтов и французская литература // Электронный ресурс Интернета: <http://www.ruthenia.ru>
3. Стендаль Ф. Собр. соч. в 15 т. Т. 4. М.: Правда, 1959. 640 с.
4. Стендаль Ф. Собр. соч. в 15 т. Т. 5. М.: Правда, 1959. 547 с.
5. Heisler M. Stendhal et Napoléon. P.: Nizet, 1987. 218 p.
6. Stendhal F. Armance. Lausanne: Ed. du grand chêne, 1961. 322 p.

7. *Stendhal F.* De l'amour. P.: Michel Lévy frères, 1857. 371 p.
8. *Stendhal F.* La Chartreuse de Parme. Lausanne: Ed. du grand chêne, 1967. 1038 p.
9. *Stendhal F.* Le Rouge et le Noir. P.: Pocket, 2010. 614 c.
10. *Stendhal F.* Lucien Leuwen: Tome I. Lausanne: Ed. du grand chêne, 1961. 669 p.
11. *Stendhal F.* Vie de Napoléon. P.: Le divan, 1930. 351 p.

## ФРАНЦ ФОН БААДЕР И СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ

О. В. Козонкова

Саратовский национальный исследовательский  
государственный университет им. Н. Г. Чернышевского

В период Венского конгресса немецкий философ Франц фон Баадер создает проект организации Европы в постнаполеоновскую эпоху на основе христианской любви. В статье рассматривается содержание проекта, история его создания и его возможное влияние на текст договора Священного союза.

**Ключевые слова:** Баадер, идея Европы, Александр I, А. Н. Голицын, Священный союз.

**Franz von Baader and the Holy Alliance**

**O. V. Kozonkova**

**National Research Saratov State University**

During the Vienna Congress, the German philosopher Franz von Baader creates a project for the organization of Europe in the post-Napoleonic era based on Christian love. The article discusses the content of the project, the history of its creation and its possible impact on the text of the treaty of the Holy Alliance.

**Keywords:** Baader, the idea of Europe, Alexander I, A. N. Golitsyn, the Holy Alliance.

В преддверии Венского конгресса не только государственные мужи, но и ученые, философы, публицисты и литераторы создавали сочинения, в которых излагали свою точку зрения на будущее европейского континента, а также представляли конкретные проекты, как – хотя бы на короткий срок – сохранить в этой части света равновесие сил и мирное соседство существующих империй. Одним из тех, кто попытался оказать влияние на ход мировой истории, был Франц фон Баадер (1765-1841), немецкий естествоиспытатель, философ и теолог эпохи романтизма, предлагавший устроить европейский мир на основе всеобщей христианской любви.

Франц фон Баадер не слишком известен в сегодняшнем пространстве культуры, причем даже на родине философа, однако и полностью обойденным вниманием его назвать нельзя. Издание первого и фактически полного Собрания сочинений Баадера в шестнадцати томах, включавшее и опубликованные при жизни труды, и работы из наследия, началось менее чем через десять лет после смерти философа и было завершено уже к 1860 г. [8]. В 15-й том Собрания сочинений вошла и первая, весьма обстоятельная биография

Баадера авторства его ученика Франца Хофмана, на которую до сих пор опираются все исследователи жизни и деятельности немецкого философа, опубликованная вскоре отдельным изданием. На протяжении XIX и XX веков сохранялся умеренный, но стабильный интерес к наследию Баадера, его философия вплоть до сегодняшнего дня остается специальным предметом диссертационных исследований, а также часто рассматривается (более или менее подробно) в работах, посвященных истории немецкой философии либо эпохе романтизма.

В российской науке личность, деятельность и философские труды Баадера пока еще мало изучены, однако статьи о нем присутствует в большинстве справочных изданий (примечательным образом как в дореволюционных, так и в советских и постсоветских). Чаще всего Баадер упоминается в обзорных работах по немецкому романтизму, а также в связи с историей христианства в России и историей русской философии, так как он, по распространенному мнению, оказал влияние на славянофилов [3].

Малая изученность творчества Баадера объясняется, в том числе, обширностью его наследия и особой усложненностью его стиля – *«тематической разбросанностью подавляющего большинства его работ с их вязким и непластичным контрапунктом всевозможных проблем»* [1, с. 690].

В отечественной науке пока нет работ, посвященных баадеровскому проекту обустройства Европы, а также контактам философа с русскими государственными деятелями и его поездке в Россию в 1822 году, когда он попытался претворить некоторые из своих планов в жизнь. В зарубежной науке эти события упоминаются в большинстве биографических исследований [8, с. 15; 7; 4], а также в трудах, посвященных развитию европейской идеи [5; 6], однако всякий раз довольно коротко, что вполне объяснимо. Баадеровский проект единой Европы и его поездка в Россию – лишь небольшой эпизод в жизни философа, еще более мелким он представляется в общей истории германо-русских связей, особенно если учесть, что проекты Баадера так и не нашли осуществления, во всяком случае, в том виде, в котором задумывались. Однако идеи, положенные в их основу, занимали Баадера на протяжении всей жизни, и знакомство с ними добавляет важные штрихи как к портрету немецкого философа,



так и к картине постнаполеоновской эпохи.

Баадер родился в 1765 г. в Мюнхене и получил естественнонаучное образование, выучившись сначала на врача, а затем на горного инженера. На протяжении долгого времени он служил в Баварском королевстве чиновником по горному ведомству, был также управляющим стекольного завода, где, в том числе, ставил химические опыты. Публиковаться Баадер начал в 1790 г., сначала по естественнонаучным вопросам, а затем и по философским. В 1815 г. он получил личное дворянство, а в 1826 г. был назначен профессором Мюнхенского университета.

С трудами Баадера были знакомы и ценили их выдающиеся литераторы и мыслители той эпохи – Гете, Новалис, Шеллинг, Шлегель, Гегель.

Баадер родился на излете эпохи Просвещения и в юности познакомился с ее философией, однако довольно скоро счел западноевропейский рационализм и материализм, особенно проявившиеся у французских просветителей, неверными. Философия Баадера – это философия новой романтической эпохи, в основе своей идеалистическая, а в его случае – еще и христианская.

Как и большинство романтиков, Баадер полагал, что мир – это не механизм, состоящий из отдельных частей либо атомов, а живой организм, все составляющие которого неразрывно связаны между собой любовью к Богу, живому центру этого мироздания. Понятие организма Баадер применял как при описании природы, так и социального устройства – общества в целом и государства в частности. Идея единства мира, основанного на любви, присутствует в большинстве его произведений, будь то труды по религии, эстетике или по политическим и социологическим вопросам.

В 1814 г., когда крах наполеоновского мироустройства стал очевиден и возникла насущная проблема новой организации континента, Баадер был одним из тех, кто предложил свою версию будущего:

*«Auf dem niedergebrochenen Weltreich Napoleons sollte ein alle christlichen Völker Europas umspannendes, im Geiste des Christentums geeintes und geführtes Reich mit einer christlichen Gesellschaftsordnung entstehen, die eine Versöhnung der christlichen Konfessionen und einen gerechten Ausgleich auch der sozialen*

*Gegensätze ermöglichte. <...> Anstelle eines Systems des sog. europäischen Gleichgewichts <wünschte man sich> ein christliches Staatensystem, d.h. einen völkerrechtlichen Verein selbständiger Nationalstaaten mit monarchischer Spitze, innerlich verbunden und geeint in der Weltidee der christlichen Religion» [7, с. 10 и 87].*

В отличие от многих современников, Баадер не только изложил свою концепцию на бумаге, но и попытался содействовать ее воплощению в жизнь. Он составил краткий меморандум с представлением своего проекта и направил его летом 1814-го, а затем еще раз весной 1815 г. монархам Пруссии, Австрии и России. В том же 1815 г. Баадер опубликовал для широкой общественности брошюру под названием: «О потребности нового и более тесного соединения религии с политикой, вызванного французской революцией» (*Über das durch die französische Revolution herbeigeführte Bedürfnis einer neuern und innigern Verbindung der Religion mit der Politik*), где в сокращенной форме изложил содержание своих писем к монархам; таким образом, у нас есть возможность судить и о содержании меморандумов. В библиографии трудов Баадера, составленной Йоханнесом Йостом в 1926 г., указывается, что на 3-й странице этой брошюры имелось посвящение некоему «Галлицину» (*Widmung an Gallizin*) [9]. Скорее всего, здесь имеется в виду князь Александр Николаевич Голицын (1773-1844), с которым Баадер в последующие годы состоял в переписке и на которого возлагал большие надежды в осуществлении своих планов реорганизации Европы.

Посвящение столь важного, с точки зрения Баадера, документа российскому государственному деятелю неслучайно. Обстановка в Российской империи в первое десятилетие после Отечественной войны 1812 г. благоприятствовала осуществлению проектов немецкого философа. Александр I в этот период уделял религии очень большое внимание.

*«Под угрозой появившегося в Европе атеизма и рационализма, ассоциировавшихся с революционной угрозой, привлекательными для государственной власти стали любые течения, базирующиеся на религиозных ценностях» [2].*

Император становится сторонником идеи универсального христианства, в котором бы соединились все вероисповедания, поэтому в России воцаряется невиданная прежде атмосфера религиозной толерантности, в том числе и по отношению к

религиозным веяниям, идущим из-за границы. Были в такой религиозной политике «и практические резоны. Возглавляя новое общеевропейское христианское движение, Александр I вместе с этим выводил на первый план и Российскую империю. Представлялась возможность мирным путем достичь того же, чего желал добиться Наполеон войной» [2].

Главным проводником политики императора в сфере религии как раз и стал князь А. Н. Голицын. Биограф Голицына Ю. Е. Кондаков пишет, что «целое десятилетие после Отечественной войны, пока Александр I был занят переустройством Европы, А. Н. Голицын держал под контролем духовную сферу России» [2].

А. Н. Голицын был другом Александра Павловича еще в бытность того наследником престола и начал делать успешную карьеру сразу после его воцарения. В 1803 г. он стал обер-прокурором Св. Синода, в 1808 г. – председателем Комиссии духовных училищ, в 1810 г. – членом Государственного совета и управляющим Главного управления духовных дел иностранных исповеданий, сосредоточив в своих руках контроль над всеми исповеданиями империи, в 1813 г. – президентом Российского библейского общества, одной из целей которого было объединение всех христианских церквей России, в 1816 г. – министром народного просвещения, а «в 1817 г. возглавил им же учрежденное соединенное Министерство духовных дел и народного просвещения, куда были включены все ведомства, до этого находившиеся под его управлением. В 1819 г. А. Н. Голицын принял в свое ведение Почтовый департамент. Кроме того, с 1810 по 1819 г. князь управлял Придворной частью и неоднократно замещал министра внутренних дел» [2].

Одно только перечисление должностей демонстрирует, насколько велико было в 1810-е годы влияние Голицына на Александра I и на внутреннюю политику России в том, что касалось религии и просвещения. Неудивительно, что именно этому государственному мужу Баадер посвятил столь важный для него труд.

Рассчитывать на благосклонность Голицына и самого императора Баадеру позволяли не только их религиозный либерализм, но и схожесть религиозных взглядов. Мировоззрение А. Н. Голицына сложилось под влиянием учений, которые оказали решающее влияние и на Баадера, а

именно – немецких религиозных мистиков, прежде всего Якоба Беме. Голицын, как и Баадер, отдавал предпочтение вере «внутренней» перед «внешней», рассматривая обрядовую сторону религии как вторичную. Он полагал, (опять же, как Баадер), что перед Богом все христиане вне зависимости от принадлежности к конкретной церкви равны, что догматические противоречия – вещь не столь уж и важная и что объединение церквей – дело лишь доброй воли сторон.

Первый биограф Баадера Франц Хофман утверждает, что письмо достигло как минимум двух адресатов – прусского короля Вильгельма Фридриха III и российского самодержца Александра I. Хофман ссылается при этом на свидетельство Карла Августа Фарнхагена фон Энзе (1785-1858), немецкого литератора и дипломата, который в тот период принимал самое активное участие в политической жизни и присутствовал на Венском конгрессе в свите канцлера Пруссии Карла Августа фон Гарденберга.

*«Dass der König von Preussen jene Denkschrift näherer Beachtung würdig fand, geht aus der Empfehlung hervor, mit welcher Er sie dem Staatskanzler Fürsten Hardenberg überwies. Varnhagen von Ense, auf dessen gütigen schriftlichen Mittheilungen diese Nachrichten beruhen, bekam jene Denkschrift bei dem geh. Staatsrathe Stägemann zu Gesicht <...>. Unzweifelhaft hat nach Varnhagen's Mittheilungen auch der Kaiser Alexander I. von Russland von Baader's Ideen (wenigstens insoweit sie in jenen Denkschriften ausgesprochen waren) nicht nur Kenntniss genommen, sondern auch Vieles daraus sich angeeignet. Zu dem Ausdrücke jedoch, den diese Ideen in der Stiftung der heiligen Allianz empfangen, scheinen sie erst durch die Vermittelung Anderer, insbesondere die der Frau von Krüdener, gelangt zu sein» [8, с. 15].*

Вслед за Хофманом большинство биографов также полагают – с большей или меньшей степенью уверенности, – что документ был принят к сведению российским императором и повлиял на него при составлении текста договора о Священном союзе.

Если сравнить сочинение Баадера и текст договора о Священном союзе, можно, действительно, увидеть некоторое сходство и как минимум одно принципиальное различие.

Текст договора Священного союза упрекали в расплывчатости, неопределенности, справедливо утверждая, что религия заняла здесь место международного права; к

проекту Баадера все эти упреки применимы в еще большей степени. В его сочинении нет ни имен монархов, за исключением Наполеона (который представлен отпавшим от веры и потому превратившимся в деспота), ни названий государств, ни конкретных предложений объединения Европы, выраженных в категориях реальной политики. Основная идея этого десятистраничного труда, который нелегко для чтения, как и все, что вышло из-под пера Баадера, заключается в следующем.

Свобода, принесенная в мир французской революцией, – это свобода ложная, потому что она основана не на любви к богу и ближнему, а на любви к самому себе, к отдельному индивидууму, которая раскалывает мир на отдельные атомы и приводит лишь к деспотизму и угнетению одних другими.

Истинная свобода заключается лишь в любви, причем в любви христианской. При наличии такой любви в мире, понимаемом как организм, свобода возможна даже при наличии неравенства: потому как если неравные части испытывают друг к другу истинную любовь, то они приходят к гармонии.

Именно по пути рехристианизации предлагает Баадер пойти Европе – по пути возвращения в мир религии, веры, любви. Причем возвращение христианства должно осуществляться не только на уровне отдельных верующих, на уровне «сердца», как это называет Баадер, но и на уровне «интеллекта», то есть в области политики. Когда все начнут воспринимать себя как части единого целого, подчиняющегося Богу, то в Европе наступит счастье и политическая гармония.

Подписанный в 1815 г. монархами договор о создании Священного союза – документ не в пример более короткий и на фоне баадеровских рассуждений гораздо более конкретный. Точного совпадения формулировок в обоих текстах нет и быть не может, учитывая разность жанров и интенций авторов, однако можно обнаружить переключку идей.

Баадер выражает надежду, что Французская революция и последовавшие за ней трагические события дадут толчок к возвращению принципов христианства в политику:

*«Die französische Revolution <werde> Antrieb zu einer neuen, innigeren Aufnahme des Principis der Religion der Liebe und Freiheit in die Politik geben» [8, с. 6].*

А государи, подписавшие договор Священного союза, намерены «как в управлении вверенными им государствами, так и в политических отношениях ко всем другим правительствам руководствоваться не иными какими-либо правилами, как заповедями сей святой веры, заповедями любви, правды и мира».

Баадер полагает, что обращение к религии исключительно в частной жизни, да и то в форме застывших ритуалов, недостаточно и нужно использовать политический потенциал христианства:

*«So blieb denn der Gebrauch, den die Menschen von dieser Erlösungs- und Befreiungskraft (die ihnen nur als Same des Reichs Gottes mitgetheilt ward) bis dahin machten, hauptsächlich nur Privat- oder gleichsam häuslicher Gebrauch, und erstreckte sich höchstens nur auf Familienverhältnisse (z. B. die Ehe, welche hiemit zum Sacrament erhoben werden konnte); aber jener Gebrauch ging und griff nicht tief und innig genug in den öffentlichen Verkehr (der Regierung mit Regierten, jener unter sich &c.) ein; <...> Einer Religion, die sich als Botschaft des nahe gekommenen Reiches Gottes unter den Menschen ankündigte, wird man doch ihre weltbürgerliche (politische) Tendenz nicht absprechen können, und wenn schon dieses Reich nicht von dieser Welt ist und kömmt, so kömmt es doch für sie und in sie» [8, с. 6].*

И в договоре Священного союза говорится, что христианские заповеди не должны применяться «единственно к частной жизни, долженствую, напротив того, непосредственно управлять волею царей и водительствовать всеми их деяниями, яко единое средство, утверждающее человеческие постановления и вознаграждающее их несовершенства».

Баадер полагает, что забвение христианской любви приводит к деспотизму и его оборотной стороне – рабству:

*«Klar geht nun aus der bisherigen Darstellung hervor, dass jeder Despotismus, sowie jede denselben fröhnende Slaverei antichristisch, d. i. der Macht der Sünde selbst fröhnend, und dass jeder Christ verpflichtet ist, diesen Geist des Uebermuthes und der Niederträchtigkeit in und ausser sich als den wahren Erbfeind des Christenthums zu bekämpfen» [8, с. 6].*

И монархи, подписавшие договор, намереваются править «в духе братства»:

*«Соответственно словам Священных Писаний, повелевающих*

*всем людям быть братьями, три договаривающиеся монарха пребудут соединены узами действительного и неразрывного братства и, почитая себя как бы единосемцами, они во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь; в отношении же к подданным и войскам своим они, как отцы семейств, будут управлять ими в том же духе братства, которым они одушевлены, для охранения веры, мира и правды».*

Одна из основных идей Баадера – наличное единство христианского мира, существующее несмотря на формальные различия между конфессиями. И монархи признают данное единство в тексте договора:

*«Посему единое преобладающее правило да будет, как между помянутыми властями, так и подданными их, приносить друг другу услуги, оказывать взаимное доброжелательство и любовь, почитать всем себя как бы членами единого народа христианского».*

Несмотря на сходство идей, договор Священного союза в самом главном пункте противоречит проекту Баадера. В то время как немецкий философ стремился к слиянию в христианской любви всех и каждого, Священный альянс предполагал союз монархов, а не народов.

Вопрос о том, насколько проект Баадера мог повлиять на европейских государей, для которых создавался, остается на настоящий момент гипотетическим, ввиду отсутствия публикаций соответствующих документов, которые бы однозначно свидетельствовали не только о знакомстве монархов с этим меморандумом, но и об однозначном положительном его восприятии, однако несомненно совпадение двух текстов в главном – и в первом, и во втором документах в основу будущего сосуществования европейских государств кладется принцип христианской любви к ближнему. В последующие годы Франц фон Баадер потратит еще немало времени и сил, чтобы способствовать рехристианизации континента, в том числе, и используя свои контакты в Российской империи.

### **Библиография:**

1. Михайлов А. В. Комментарии // Эстетика немецких романтиков. М.: Искусство, 1987. С. 564-701.

2. *Кондаков Ю. Е.* Либеральное и консервативное направления в религиозных движениях в России первой четверти XIX века. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. С. 343 // [Электронный ресурс] URL: [http://www.gumer.info/bogoslov\\_Buks/History\\_Church/kond](http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/kond).
3. *Шевырев С. П.* Христианская философия. Беседы Баадера // Московитянин. 1841. Ч. 3. № 6. С. 378-437 // [Электронный ресурс] URL: <http://old.stsl.ru/manuscripts/medium.php?col=6&manuscript=065&pagefile=065-0001>.
4. *Benz E.* Franz von Baader und Kotzebue. Das Rußlandbild der Restaurationszeit. Mein / Wiesbaden: Verlag der Akademie der Wissenschaften, 1957. 41 S.
5. *Gollwitzer H.* Europabild und Europagedanke. München: Beck 1964. 396 S.
6. *Lützel P. M.* Die Schriftsteller und Europa. Von der Romantik bis zur Gegenwart. München: Piper, 1992. 558 S.
7. *Siegl J.* Franz von Baader. Ein Bild seines Lebens und Wirkens. München: Bayerischer Schulbuch-Verlag, 1957. 107 S.
8. *Baader F. von* Sämtliche Werke. Systematisch geordnete, durch reiche Erläuterungen von der Hand des Verfassers bedeutend vermehrte, vollständige Ausgabe der gedruckten Schriften sammt dem Nachlasse, der Biographie und dem Briefwechsel / Hrsg. durch einen Verein von Freunden des Verewigten: Professor Dr. F. Hoffmann in Würzburg, Prof. Dr. J. Hamberger zu München, Prof. Dr. A. Lutterbeck zu Gießen, Baron F. von Osten, Prof. E. A. von Schaden zu Erlangen und Prof. Dr. Ch. Schlüter zu Münster. In 16. Bd. Leipzig: Verlag von Herrmann Bethmann, 1850-1860 // [Электронный ресурс] URL: <http://www.venturus.de/vframe.htm?vbaad.htm>.
9. *Jost J.* Bibliographie der Schriften Franz v. Baaders mit kurzem Lebensabriss. Bonn: Cohen, 1926. 24 S. // [Электронный ресурс] URL: <http://www.venturus.de/vframe.htm?vbaad.htm>.



## К МИФУ О МИХАЙЛОВСКОМ ЗАЙЦЕ: ПУШКИН И НАПОЛЕОН

В. С. Листов

Новый институт культурологии, Москва

Статья посвящена как общностям, так и различиям мифологических представлений первого императора французов и первого поэта России. В частности, речь идёт о так называемом «заячем мифе», глубоко укорененном в сознании обеих исторических личностей. По мнению автора работы, Пушкин постоянно сопоставлял свой жизненный путь с мифологизированной биографией Бонапарта и делал из этих сопоставлений собственные выводы. Статья написана на материале таких произведений, как «Наполеон на Эльбе», «Недвижный страж дремал на царственном пороге» «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Капитанская дочка» и др. Используются также эпистолярные источники, дневники, мемуары.

**Ключевые слова:** Наполеон I, А. С. Пушкин, С. А. Соболевский, «заячий миф», приметы, суеверия.

To the Myth of the Mikhailovsky Hare: Pushkin and Napoleon

V. S. Listov

New Institute of Cultural Studies, Moscow

The article is devoted to both commonalities and differences in the mythological representations of the first emperor of the French and the first poet of Russia. In particular, we are talking about the so-called *hare myth*, deeply rooted in the minds of both historical figures. According to the author of the work, Pushkin constantly compared his life path with the mythologized biography of Bonaparte and drew his own conclusions from these comparisons. The article is based on the material of such works as *Napoleon on the Elbe*, *The Motionless Guardian dozed on the royal threshold*, *Eugene Onegin*, *Boris Godunov*, *The Captain's Daughter*, etc. Epistolary sources, diaries, memoirs were also used.

**Keywords:** Napoleon I, A. S. Pushkin, S. A. Sobolevsky, *hare myth*, omens, superstitions.

«Мы все глядим в Наполеоны» [12, Т. VI, с. 37] – эта строка из второй главы «Евгения Онегина» более чем знаменита. О её литературных и философических подтекстах можно размышлять бесконечно. Тут и обличение сравнительно простого, но совершенно бесчеловечного карьеризма:

*«Двуногих тварей миллионы  
Для нас орудие одно» –*

тут и комплекс мещанина, мечтающего стать аристократом (наподобие старухи из сказки «О рыбаке и рыбке») и многое

другое. Наполеоновской теме у Пушкина посвящена обширная и совершенно необозримая литература [10, с. 5-51].

Среди других смысловых потоков в онегинских строках ясно различимо и ироническое русло. «*Все глядим в Наполеоны*» – но что из того? Этот всеобщий взгляд снизу вверх не только не приближает нас к власти, знаменитости и богатству, а – как раз наоборот – утверждает нашу безвестность и ничтожность. Незлобно смеясь над «*двуногими тварями*», автор, думается, не обходит ироническим вниманием и себя самого.

Напомним: вторая онегинская глава сочинялась в 1823-1824 гг. К этому времени поэт для себя уже не был открывателем наполеоновской темы. Остались позади лицейские произведения, так или иначе посвященные жизненному пути императора, ода «Вольность», набросок по-французски о смерти Бонапарта [13, с. 292-293], такие стихи как «Наполеон», «Недвижный страж дремал на царственном пороге» и др. Нетрудно заметить, что порой Пушкин и сам «глядит в Наполеоны». Если чуть перефразировать его письмо к П. А. Вяземскому от осени 1825 года, то можно будет сказать: если здесь он, Пушкин, мал и мерзок, то не так, как пошляки и подлецы, – иначе [12, Т. XII, с. 244].

По стихам, письмам, воспоминаниям приходится нам восстанавливать отношение первого поэта России к личности первого императора Франции. Спектр этих отношений весьма обширен. Довольно рано, ещё с лицейского стихотворения «Наполеон на Эльбе» (1815), молодой поэт начинает осторожно отождествлять некоторые особенности лирического героя своих стихотворений с кое-какими чертами мифологизированной биографии полководца. В «Наполеоне на Эльбе» положение героя на острове, где ему являются пророческие, ещё не истолкованные явления будущего, – весьма обязывающая деталь [7, с. 192-193]<sup>4</sup>. Нам приходилось отмечать, как Пушкин выстраивает параллель своей биографии с биографией Наполеона. Речь шла о семейных сходствах Бонапартов и Пушкиных («*прекрасные креолки*») [8, с. 287-289] и о двух ссылках, через которые прошли и император французов, и

---

<sup>4</sup> Заметим здесь же, что Б. В. Томашевский давно выявил сходство строфики пушкинского памятника (1836) со строфой из стихотворения «Наполеон на Эльбе» (1815). Эта строфа – шестистопный ямб с перекрёстными рифмами и последней строкой, усеченной до четырёх стоп – больше ни разу не встречается в творчестве Пушкина [14, с. 243].

поэт русских [8, с. 304-305]. Если мы сопоставим, например, мотивы воображаемых Пушкиным диалогов императора Александра I с поэтом А. П. и с «Владыкой Запада» (Наполеоном I в «Недвижном страже...»), то лирически осознанное сходство условий и направленности обоих диалогов, сомнений, кажется, не вызовет [8, с. 295-309].

С этой точки зрения нам предстоит обратиться к общеизвестной черте характеров сопоставляемых исторических личностей: оба – и Наполеон, и его младший современник Пушкин – были суеверны, принимали всерьез распространенные приметы и, кроме того, культивировали свои собственные немотивированные запреты и разрешения. Так, Бонапарт верил в свою звезду, только ему одному видимую на дневном небе [2, с. 102]. Эта черта наполеоновского мифа, скорее всего, была Пушкину известна. В стихотворении «Бородинская годовщина» (1831) поэт едва ли не прямо на нее ссылается:

*«Не вся ль Европа тут была?  
А чья звезда ее вела!»*  
[12, Т. III, с. 272].

В свою очередь и Пушкин отдал общеизвестную дань поверьям и приметам. Надо ли напоминать? Поэт верил предсказаниям немецкой гадалки Александры Кирхгоф, будто его, Пушкина, всегда преследует опасность смерти от белого человека или белой лошади, тревожился при случайных уличных встречах с монахом, побаивался забытых и оброненных вещей. В этом же кругу суеверий – приметы вокруг зайца. Сама по себе «заячья мифология» далеко выходит за пределы нашей темы. Она, мифология эта, захватывает древние времена, распространяется едва ли не на все мировое пространство. Например, индейцы Северной Америки поклонялись «Великому Зайцу», который сотворил мир, уничтожил злых духов и изобрел рыболовные снасти [15, с. 447]. Аналогичные подвиги числятся в преданиях многих племён и народов – причём скромный грызун использует свои сверхъестественные способности то во благо человеку, то во зло ему. Зайца опасались и в русском патриархальном быту. Простонародная старина преследовала, как известно, и онегинскую Татьяну:

*«Когда случалось где-нибудь*

*Ей встретить черного монаха,  
Иль быстрый заяц меж полей  
Перебегал дорогу ей,  
Не зная, что начать со страха,  
Предчувствий горестных полна  
Ждала несчастья уж она»  
[12, Т.VI, с. 99-100].*

Пушкин и сам поступал точно так же, как его героиня. Недаром же его лицейский товарищ, В. К. Кюхельбекер, в своём дневнике 1832 года уверенно заметил: «Поэт в 8 главе <„Евгения Онегина“> похож сам на Татьяну» [4, с. 99-100]. Страх перед зайцем, перебегающим дорогу, коренился в древних поверьях в крестьянстве. Но и в барском усадебном быту неожиданное появление косоного нередко вызывало беспокойство. Считалось, что пробег зайца мимо жилья – к пожару. «Зайцами» называли синие огоньки над потухающими поленьями в печи; пока «зайцы» бегали над головешками, нельзя было закрывать печную трубу – опасались угара.

В записи мемуаристки Екатерины Владимировны Новосильцевой (1820-1885) сохранился анекдот о суеверной выходке Пушкина, легендарно относящейся к временам первой болдинской осени:

*«Имение, где Пушкин жил в Нижнем, находится в нескольких верстах от села Апраксина, принадлежавшего семейству Новосильцевых, которых поэт очень любил, в особенности хозяйку дома, милую и добрую старушку. Она его часто журила за суеверие... Г-жа Новосильцева праздновала свои именины, и Пушкин обещался приехать к обеду, но его долго ждали напрасно и решились, наконец, сесть за стол без него. Подавали уже шампанское, когда он явился, подошел к имениннице и стал перед ней на колени: – Наталья Алексеевна, – сказал он, – не сердитесь на меня; я выехал из дому и был уже недалеко отсюда, когда проклятый заяц пробежал поперёк дороги. Ведь вы знаете, что я юродивый: вернулся домой, вышел из коляски, а потом сел в неё опять и приехал, чтоб вы меня выдрали за уши» [13, с. 153-154].*

Эпизод, рассказанный Е. В. Новосильцевой, конечно, не полностью достоверен. Публикаторы приведенного отрывка мемуаров, С. Гессен и Л. Модзалевский, верно заметили, что визит Пушкина в Апраксино к Новосильцевым не мог

прийтись на Натальин день (26 августа), т. к. поэт познакомился со своими соседками несколько позже [13, с. 153]. Современные исследователи с полным основанием относят случай не к Натальину дню, а к более позднему и более протяженному промежутку времени – между серединой сентября и ноябрем 1830 года [5, с. 237]. Можно подозревать, что «заячий» случай носит легендарный характер.

В этой связи представляет кое-какой интерес автор воспоминаний, писательница Е. В. Новосильцева. В 1830 году ей, девочке, было десять лет. Вряд ли ей самой пришлось пить то шампанское, к которому приехал опоздавший Пушкин. Вполне вероятно, что в своих «Исторических анекдотах и мелочах» («Русский архив», 1887, кн. II), куда она поместила отрывок «Имение, где Пушкин жил...», многое услышано от старшей родни и знакомых, а то и прочитано в редких изданиях или несохранившихся потом записках. Так или иначе, можно не сомневаться: Екатерина Владимировна собирала материалы и предания по истории конца XVIII – начала XIX вв. Особым ее вниманием пользовался период наполеоновских войн. О том свидетельствуют ее сочинения: «Рассказ старушки о двенадцатом годе» (1878), «Смоленск и его предания о двенадцатом годе» (1880), повесть «Приемыш» и др. Среди книг, прочитанных Екатериной Владимировной ещё в детстве, отметим шеститомную «Историю о низвержении Наполеона Бонапарта» Эжена Ла Бома, вышедшую во Франции в 1820 году и переведенную на русский язык в Москве в 1821-1823 гг. [3, с. 355].

Собирательница преданий и рассказов о Наполеоне, Е. В. Новосильцева, вряд ли могла пройти мимо суеверных страхов Бонапарта перед зайцем, перебежавшим дорогу всаднику. Во многих сочинениях, в частности, о египетском походе Бонапарта, повествование о том, как великий полководец смущался и падал духом от неожиданного появления дурной приметы, стал общим местом, популярной легендой. Будущий император самую неудачу средиземноморской экспедиции склонен был объяснять зайцем, подвернувшимся по дороге. Поэтому ничего удивительного не было бы, если бы случай с Пушкиным у Новосильцевых под пером дамы обрёл некоторые черты наполеоновского анекдота. Пушкин, как бы вослед Наполеону, объясняет свою неудачу тревогой перед дурной приметой.

Не исключаем, что хрестоматийный, известный анекдот о неучастии Пушкина в восстании 14 декабря тоже связан с «заячьей мифологией» и тоже отчасти навеян наполеоновской легендой. Вот – в самом сжатом виде – основные обстоятельства устного рассказа поэта. К декабрю 1825 года поэт в Михайловском; ведет жизнь ссыльного, давно оторванный от «приятностей» столичной жизни. Получив сообщение о смерти своего гонителя, императора Александра I, он решает самовольно покинуть Михайловское и провести хотя бы несколько дней в Петербурге. Чем обернулась эта затея, он рассказывал многим приятелям (например, Адаму Мицкевичу). Выберем версию рассказа, принадлежащую С. А. Соболевскому и относящуюся ко времени не ранее сентября 1826 года. Этот фрагмент о петербургских планах поэта представляется нам наиболее достоверным, близким к пушкинскому первоисточнику:

*«Он положил заехать сперва на квартиру к Рылееву, который вел жизнь не светскую, и от него записать сведениями. Итак, Пушкин приказывает готовить повозку, а слуге собираться с ним в Питер; сам же едет проститься с тригорскими соседками. Но вот, по пути в Тригорское, заяц перебегает через дорогу; на возвратном пути из Тригорского в Михайловское – еще заяц! Пушкин в досаде приезжает домой; ему докладывают, что слуга, назначенный с ним ехать, заболел вдруг белой горячкой. Распоряжение поручается другому. Наконец, повозка заложена, трогаются от подъезда. Глядь – в воротах встречается священник, который шел проститься с отъезжающим барином. Всех этих встреч – не под силу суеверному Пушкину. Он возвращается от ворот домой и остается у себя в деревне. „А вот каковы бы были последствия моей поездки, – прибавлял Пушкин. – Я рассчитывал приехать в Петербург поздно вечером, чтоб не огласился слишком скоро мой проезд, и, следовательно, попал бы к Рылееву прямо на совещание 13 декабря. Меня приняли бы с восторгом; <...> попал бы с прочими на Сенатскую площадь и не сидел бы теперь с вами, мои милые“» [1, с. 7].*

Михайловский случай, как видим, пятью годами предшествует болдинскому. В мире пушкинской мифологии мы не знаем, от какой беды отвел поэта заяц, перебежавший дорогу поблизости от нижегородского села Апраксина. Да и вообще существовал ли этот юркий зверек в действительности

или был только порождением фантазии соседа, почему-то опоздавшего к празднику? Кажется, заяц (или зайцы?) на пути между Михайловским и Тригорским – куда серьезнее. Если верить Пушкину и Соболевскому, то, не случись заячья побежка по псковским снегам, биография и творчество поэта сложились бы совершенно иначе. Всей цепи произведений – от «Графа Нулина» (1825) до письма к А. О. Ишимовой (1837) могло просто не быть. И все обстоятельства жизни и смерти поэта разворачивались бы совершенно по-другому. Заяц, якобы, спас известного нам Пушкина. Не потому ли от имени благодарных потомков скульптор Резо Габриадзе и писатель Андрей Битов воздвигли на окраине Михайловского памятник серенькому спасителю? Произошло это в декабре 2000 года.

Спокойное размышление над чудесным спасением Пушкина от роковой поездки едва ли не полностью исключает реальность эпизода. В самом деле. Слуга заболевает белой горячкой за несколько часов до отъезда. Однако ж болезнь вовсе не того свойства, чтобы проявиться мгновенно, так сказать, с сегодня на завтра. Малодостоверен и визит священника, желающего «проститься с отъезжающим барином». Пушкин ведь поднадзорный; его отъезд есть нарушение режима ссылки. У священника, чьи усилия входят в надзор за опальным поэтом, вовсе нет повода для мирного прощания с «отъезжающим барином». Если тайну поездки Пушкину не удалось скрыть от священника, то онный священник по долгу присяги должен немедленно донести о побеге «кому следует».

Думается, заяц (зайцы?) перебегающий дорогу, находится в том же ряду воображаемых деталей, которые обеспечивали сложение очередного исторического анекдота о Пушкине. Однако, для нашей темы даже не так важна фактическая достоверность анекдота – было? не было? – как несомненная общность с наполеоновской мифологией. Мы приводили уже смахивающий на легенду рассказ о зайце, якобы, послужившем причиной неудачи египетского похода будущего императора. Теперь настает очередь русским параллелям.

В июне 1812 года Наполеон завершил последние приготовления к своему походу на Москву. Его великая армия стояла на берегу Немана и ждала сигнала форсировать реку: классический мотив перехода через Рубикон. О том, что произошло накануне этого решающего события, знает едва ли

не каждый французский школьник. Вот одно из многочисленных изложений анекдота:

*«Когда он <Наполеон> изучал местность в районе Немана, вынашивая план будущего сражения, под ноги его лошади выскочил заяц. От неожиданности лошадь шарахнулась в сторону, и Наполеон упал с нее. Поднявшись с земли и не проронив ни слова, он сел в седло. Бледность его была столь пугающей, что окружающие его люди поняли: император усмотрел в этом дурное предзнаменование. Лишь несколько часов спустя он прямо спросил своих приближенных:*

*– Вы ведь подумали о том же, о чем и я, не правда ли?» [2, с. 104].*

Увы. Заяц не спас Россию от наполеоновского нашествия, а равным образом не спас и Бонапарта от ужасов русского похода. Между случаем на Немане и рассказом Пушкина Соболевскому прошло не менее четырнадцати лет. За это время Наполеон успел проиграть русскую кампанию, битвы под Лейпцигом и Ватерлоо, пережить две ссылки, сойти с исторической сцены и умереть. Посмертная мифологизация истории императора нарастала в Европе как снежный ком, и Пушкин, конечно, за ней следил с понятным любопытством. Он не переставал и дальше сопоставлять свой жизненный путь с биографией великого корсиканца. Пушкин и Соболевский могли знать о легендарном происшествии на берегу Немана, а могли и не знать. Опять-таки, не в этом дело. Здесь гораздо важнее общность культурной традиции, наделяющей мелкого грызуна великой и противоестественной силой, способностью влиять на людские судьбы. Эта традиция, как уже было замечено, распространялась на всю Европу. Бонапарт следовал ей и как уроженец Корсики, близкой культуре Италии, и как провинциальный француз. Пушкин был приобщён к «заячьим» приметам как носитель простонародных русских поверий и как человек, глубоко впитавший в своё сознание «острый галльский смысл». Вслед за автором примете о пугающих особенностях явления зайца следуют и его, Пушкина, герои. Среди них – далеко не только онегинская Татьяна.

Например, заглавный герой трагедии «Борис Годунов», узнав о явлении Самозванца в соседней стране, приказывает князю Василию Шуйскому:

*«Послушай, князь: взять меры сей же час;*



*Чтоб от Литвы Россия оградилась  
Заставами; чтоб ни одна душа  
Не перешла за эту грань, чтоб заяц  
Не прибежал из Польши к нам, чтоб ворон  
Не прилетел из Кракова»  
[12, Т.VII, с. 47].*

Тут, если угодно, довольно очевидная параллель противостоянию на Немане, которое произойдет двести лет спустя. Как и Наполеон, Борис верит в злую примету, но, в отличие от императора, пытается заранее отвести назревающую беду. Монолог царя, обращенный к Шуйскому, разумеется, можно толковать буквально, в пределах верхнего смыслового слоя. То, что приказывает ввести Борис, мы теперь назвали бы информационной блокадой: никому из соотечественников не позволено знать о появлении в Кракове польского ставленника на русский престол. Ни одна живая душа не должна пересечь границу. Эту мысль государь выражает утрировано: не то что человек, но даже зверь и птица не вольны перенести ужасную весть в русские пределы.

Вовсе не отрицая такого объяснения, мы полагаем, что оно не единственное и не исчерпывающее. Это – не редкость у Пушкина. Конечно, не буквального зайца или ворона боится Борис; они реально не могут прорвать воздвигаемый информационный занавес. Монарший страх сосредоточен на общеизвестных символических образах, предваряющих беду. В этом смысле заяц играет как раз ту роль, о которой идет речь. Не желая пускать польского зайца на Русь, царь пытается обмануть судьбу, оттянуть и собственную смерть, и гибель своей державы. В устах Бориса вряд ли случайно и слово о вороне. В обширных мифологических пространствах – в том числе и европейских – ворон выступает как символ катастрофы, как посредник между живым и мертвым [9, с. 245-247.]. В роли ворона может выступать в трагедии как раз Самозванец, представляющий от мертвого Дмитрия Углицкого перед живым, но уже близким к могиле Борисом. Понимание легендарного посредничества ворона между высоким и низким, между живой кровью и мертвым прахом, выявлено в калмыцкой сказке, рассказанной самозванным царем Емелькой на страницах «Капитанской дочери» [12, Т.VIII, с. 352]. Мотив можно вести и дальше, но это удалило бы нас от избранной темы.

Попутно напомним: трагедия «Борис Годунов» была завершена в ноябре 1825 года [11, с. 124-125], т. е. незадолго до мятежного 14 декабря и предполагаемой поездки Пушкина в Петербург. Таким образом, существует как минимум хронологическая возможность «участия» наполеоновских эпизодов в сложении анекдота, сохраненного С. А. Соболевским. Напомним так же и о том, что мы располагаем не только косвенными догадками о Пушкине, который будто бы сопоставляет своих венценосных героев – Годунова и Бонапарта. Их сходство не только в начальной худородности и последующей узурпации престолов. В заметках на полях статьи М. П. Погодина «Об участии Годунова в убиении царевича Димитрия» (1829) Пушкин прямо ставит обоих злодеев в один ряд:

*«А Наполеон, убийца Энгиенского, и когда? ровно 200 лет после Бориса»* [12, Т. XII, с. 248].

Ход мысли Пушкина очевиден. Погодин не верит в причастность Годунова к гибели царевича; столь опытный политик, согласно Погодину, не мог бы оставить в живых направленных им убийц сына Ивана Грозного. Пушкин отвечает: конечно, мог бы. Вот ведь даже и в наши дни Бонапарт, государственный человек, куда более крупный, чем Борис, не карал исполнителей убийства принца крови, герцога Энгиенского. Прошедшие два столетия не внесли перемен во многие черты характеров узурпаторов. Допустим, и в их склонности к суевериям.

Нас здесь, однако, не занимает сама по себе старая проблема – кто прав: Пушкин или Погодин? Достаточно уже и того, что в заметке поэта Годунов и Бонапарт прямо сопоставлены. И повод сопоставления куда более значительный, чем общая приверженность суевериям, приметам и гаданиям.

Образ судьбоносного зайца будет тревожить Пушкина и позже, в пору сочинения «Истории Пугачева» и «Капитанской дочки». В сентябре 1833 года он пишет жене из Симбирска в Петербург об очередной грозной встрече – на этот раз по дороге в Оренбург.

*«Заяц перебежал мне ее. Чорт его поberi, дорого бы дал я, чтоб его затравить. <...> Дорого бы дал я, чтоб быть борзой собакой; уж этого зайца я бы отыскал»* [12, Т. XV, с. 80-81].

Тем самым старое суеверие возрождается с новой силой. В «Капитанской дочке» нет прямого, так сказать, анекдотического пробега косою под копытами коня или скока серого через какой-нибудь рубеж. Тем не менее, примета, мотив предсказания будущего, на страницах романа отчетливо присутствует. Только живой заяц замещен предметом той же фактуры – заячьим тулупчиком [12, Т.VIII, с. 201]. Во второй главе романа впервые встречаются главные его герои – дворянский недоросль Петр Гринев и казак Емелька, будущий предводитель крестьянского бунта. Сцена хрестоматийно известна. Пересказывать ее нет никакой надобности. Все помнят, что на постоялом дворе казак получает награду от барчука – за спасение во время степного бурана. Однако в русле наших наблюдений предметный мир и фабульные связи вещей можно описать несколько иначе [6, с. 159-163].

Степной буран – предвестье близких осложнений в судьбе отечества и в личных судьбах героев. Накануне грядущих вулканических потрясений происходит некое событие, на первый взгляд несопоставимое с близкой катастрофой: будущий офицер Петр Гринев расстается с заячьим тулупчиком, а будущий самозванец этот самый тулупчик обретает. Для несуетливого (или, может быть, не пушкинского?) сознания это такой же примерно пустяк, как заяц, перебегающий дорогу лошади. У Пушкина все полно смысла и значения. Расставшись с «образом» зайца и пройдя путем опаснейших приключений, Гринев не только сохраняет честь и жизнь, но ещё и обретает счастье с рукой невесты, капитанской дочки. Иное будущее ждёт казака Емельку. Обрядившись в «зайца», он как бы эмблематически перебегает дорогу всей России: великая кровь, братоубийство, разорение, нравственный упадок, пожары – всё это ждёт его соотечественников. О том Пушкин напишет в «Истории Пугачева», где нет ни слова об известной дурной примете. Зато в романе, в главе «Мятежная слобода» сам Пугачев сравнивает себя с Гришкой Отрепьевым, который *«ведь поцарствовал же над Москвой»* [12, Т.VIII, с. 353].

Реплика Емельки, примерявшего недавно заячий тулупчик, возвращает нас к сцене «Бориса Годунова», в которой окаянный царь страшится зайца из Польши, за которым видится ему восставший претендент на русский престол. Тем самым, оба самозванца – и Отрепьев, и Пугачев – сближаются

под пером Пушкина: как раз через общее соответствие древней народной примете.

Круг замыкается...

*Карета михайловского барина медленно преодолевает снега на возвратном пути из Тригорского. Но Пушкин мысленно не здесь, не на зимней дороге в Псковской губернии. Он ведёт свой горячий диалог с историей России, с мировой историей. Его собеседники тоже не здесь – Борис и Отрепьев, Пугачёв и Фридрих Прусский, Бонапарт и герцог Луи Энгиенский – да мало ли кто ещё?*

*Темнеет... Ранние декабрьские сумерки.*

*И даже если заяц все-таки перебежит дорогу, Пушкин, скорее всего, его уже не различит.*

### **Библиография:**

1. А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2-х т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1974. 560 с.
2. Бретон Г. Лукавые истории из жизни знаменитых людей. М., Интер-Трейд, 1992. 128 с.
3. Гучков С. М. Новосильцева // Русские писатели (1800-1917). Биографический словарь. Т. 4. М.: Большая Российская энциклопедия, 1999. С. 355-356.
4. Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Л.: Наука, 1979. 790 с.
5. Летопись жизни и творчества Пушкина: В 4-х т. Т. 3 (1829-1832) / Сост. Н.А. Тархова. М.: Слово/Slovo, 1999. 624 с.
6. Листов В. С. Автобиографическое в «Капитанской дочке» // *Phylogica*, № 7 (2001-2002). С. 159-163.
7. Листов В. С. Миф об «островном пророчестве» в творческом сознании Пушкина // *Легенды и мифы о Пушкине. Сб. статей под ред. М.Н. Виролайнен. СПб.: Академический проект, 1994. С. 185-208.*
8. Листов В. С. Пушкин: судьба коренного поэта. Саранск: [б/и], 2012. 398 с.
9. Мелетинский Е. М. Ворон // *Мифы народов мира. Т. 1. С. 245-247.*

10. *Муравьёва О. С.* Пушкин и Наполеон (Пушкинский вариант «наполеоновской легенды») // Пушкин. Исследования и материалы. Т. XIV. Л.,: Наука, 1991. С. 5-51.
11. *Пушкин А. С.* Борис Годунов / Пред., подг. текста, ст. С.А. Фомичева. Комм. Л.М. Лотман. СПб.: Академический проект, 1996. 524 с.
12. *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1937-1949.
13. Разговоры Пушкина. Собр. С. Гессен и Л. Модзалевский. М.: Федерация, 1929. 312 с.
14. Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л.: Academia, 1935. 416 с.
15. *Томашевский Б. В.* Строфика Пушкина // Томашевский Б.В. Стих и язык. М.; Л.: ГИХЛ, 1959. С. 202-324.
16. *Топоров В. Н.* Животные // Мифы народов мира: В 2-х т. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1980. С. 440-449.

## РАССКАЗ А. ШТИФТЕРА «ГРАНИТ»: СЕМИОТИКА ПРОСТРАНСТВА

А. Е. Лобков

Нижегородский государственный лингвистический  
университет им. Н. А. Добролюбова

В статье рассматривается рассказ «Гранит» австрийского писателя А. Штифтера, входящий в сборник «Пестрые камни». Анализ структуры сборника и его адресатов позволяет прояснить смысловые линии развития сюжета в рассказе. Штифтер мастер затрудненной формы; отступления и подробные описания, тормозящие развитие действия, необходимы для введения нового для юного читателя знания, ценность которого прежде не осознавалось.

**Ключевые слова:** А. Штифтер, «Гранит», семиотика, удвоение, хаос и порядок.

**A. Stifter's Story *Granite*: Semiotics of Space**

**A. E. Lobkov**

**Linguistic University Nizhny Novgorod**

The article discusses the story *Granite* by the Austrian writer A. Stifter, which is included in the collection *Motley Stones*. The analysis of the structure of the collection and its addressees makes it possible to clarify the semantic lines of the plot development in the story. Stifter is a master of the difficult form; digressions and detailed descriptions that slow down the development of the action are necessary to introduce new knowledge for the young reader, the value of which was not realized before.

**Keywords:** A. Stifter, *Granite*, semiotics, doubling, chaos and order.

Одним из самых известных произведений Адальберта Штифтера является двухтомный сборник «Пестрые камни» (*Bunte Steine*, 1853), включающий шесть рассказов: «Гранит» (*Granit*), «Известняк» (*Kalkstein*), «Турмалин» (*Turmalin*), «Горный хрусталь» (*Bergkristall*), «Кошачье серебро» (*Katzensilber*) и «Горное молоко» (*Bergmilch*)<sup>5</sup>. В структуру сборника входят также подзаголовки, предисловие и вступление; каждому из томов предпосланы иллюстрации: первому из «Гранита», второму – из «Горного хрусталя». Они выполнены немецким художником Л. Рихтером, получившим широкую известность пейзажными полотнами и книжными иллюстрациями, в

---

<sup>5</sup> Такие собрания были широко распространены в эпоху бидермайера. У Штифтера есть ранний сборник рассказов «Полевые цветы» (*Feldblumen*).

частности, к немецким сказкам<sup>6</sup>. Правда, реакция Штифтера на оба изображения была резко отрицательной (см. письмо Г. Хекенасту от 30 ноября 1852).

Прежде чем обратиться непосредственно к разбору рассказа «Гранит», кратко рассмотрим предваряющие авторские предуведомления, указывающие адресатов, задающие смысловые линии сборника и направляющие понимание читателя.

Подзаголовок – «Подарок к празднику» (*Ein Festgeschenk*). Праздники (у Штифтера, как правило, речь идет о религиозных праздниках) занимают важное место в жизни людей – они объединяют их в единое целое. Так, зачин рассказа «Горный хрусталь», открывающего второй том сборника, посвящен большим церковным праздникам: Пасха, Троица, Рождество. В «Граните» речь идет о празднике малом – «воскресенье», священном дне отдохновения от трудов. Отметим, что церковные праздники спланируют общину, но они также являются и семейными праздниками. На праздники принято дарить подарки. О том, что «книга – лучший подарок» знал не только советский народ. Традиция дарения книг на праздники и значимые события в жизни существовала в Европе с давних времен. В данном случае, Штифтер готовил свой сборник рассказов как подарок для детей на Рождество 1852 года<sup>7</sup>. После титульного листа в первом издании идет пустая страничка, обрамленная растительным орнаментом. Очевидно, что даритель мог вписать сюда текст с какими-либо пожеланиями. Подчеркнем, что весь сборник стоит под знаком Рождества.

---

<sup>6</sup> Людвиг Рихтер (*Ludwig Richter*, 1803-1884) – популярный художник, гравер и иллюстратор книг. Автор мемуарной книги *Lebenserinnerungen eines deutschen Malers*. В письме В. С. Шабунину (от 29.X.57) В. Я. Пропп пишет: «Я тоже читал о художнике и испытывал восхищение: это – мемуары Людвиг Рихтера (1803-1884), который рисовал детей, крестьян, немецкие интерьеры с немецким уютom. Настоящий художник всегда совершенно национален. Люблю старину. Читая, понял, как мы все (т.е. во всяком случае я) одиноки. У нас нет привычки после работы ходить друг к другу, общаться. У нас только работа, а после нее изнеможение» [3, с. 191-192].

<sup>7</sup> Список подарков, которые в середине XIX века было принято дарить на рождественские праздники, приводит Аннетте фон Дросте-Хюлсхофф в одном из своих писем: «*Die Kinder sind ganz glücklich mit ihrer Bescherung, haben auch viele und gute Sachen bekommen, aber meist Nützliches, nur wenig Spielsachen, – meistens Kleidungsstücke...*» См. полный список [8, с. 340].

В предисловии (*Vorrede*) Штифтер откликается на эпиграмму Ф. Геббеля под названием «Старые и новые певцы природы», «героями» которой стали такие поэты и писатели, как Брокес, Гесснер, Штифтер<sup>8</sup>. Брокес и Гесснер скончались еще в XVIII веке и, понятно, ответить Геббелю не могли. Штифтер был задет едкими словами своего известного современника. Обида стала источником одного из самых известных эстетических манифестов (в котором многие исследователи видят своеобразие австрийского культурного мира). Штифтер начинает вступление словами, непосредственно откликающимися на эпиграмму:

*«Однажды было замечено обо мне, что я всегда занят малым и что мои герои только обыкновенные люди» [5, с. 473].*

И далее он подробно раскрывает свой взгляд на «великое» и «малое» и формулирует эстетический и этический идеал – «кроткий закон» (*das sanfte Gesetz*), которым «руководствуется человеческий род». Явления катастрофического характера в природе больше бросаются в глаза, чем размеренное течение природных процессов. Однако именно в этой размеренности видит Штифтер величие, усматривает «целое и всеобщее» (*das Ganze und Allgemeine*), «великолепие» (*Großartigkeit*), поскольку «только оно и есть вседержущее» (*das Welterhaltende*).

Такие же законы Штифтер усматривает и во внутренней природе – «в природе человеческого рода»:

*«Как в природе всеобщие законы действуют незаметно и непрестанно и бросающиеся в глаза есть только отрывочное выражение этих законов, так и нравственный закон действует незаметно и животворно в бесконечных связях людей, и мгновенные чудеса совершившихся деяний – только малые признаки (Merkmale) этой всеобщей силы. И поэтому этот закон держит человечество, как закон природы есть закон вседержущий» [5, с. 476-477].*

---

<sup>8</sup> Die alten und die neuen Naturdichter (Brockes, Geßner, Stifter) [10, с. 127]:

*«Wißt ihr, warum euch die Käfer, die Butterblumen so glücken?  
Weil ihr die Menschen nicht kennt, weil ihr die Sterne nicht seht!  
Schautet ihr tief in die Herzen, wie könntet ihr schwärmen für Käfer?  
Säht ihr das Sonnensystem, sagt doch, was wär' euch ein Strauß?  
Aber das mußte so sein; damit ihr das Kleine vortrefflich  
Liefertet, hat die Natur klug euch das Große entrückt».*



Во вступлении (*Einleitung*) Штифтер продолжает детскую тему. Для Штифтера-педагога детская тема связана с величием. Уже в предисловии он сказал, что его рассказы адресованы для «забавы юных сердец» (*«Spielereien für junge Herzen»*). Но развлечение сопряжено у него с поучительностью. Он вспоминает о своем детстве, о собирательстве различных вещей, страсть к которому сохранилась на всю жизнь:

*«Еще мальчиком, кроме прутьев, кустиков и цветов, доставлявших мне огромное наслаждение, я приносил домой и другие вещи, которые радовали меня еще больше, потому что они не теряли так скоро свой цвет и облик, как растения, – это были разнообразные камешки и другие вещицы, найденные на земле» [13, с. 13].*

Эта страсть сохранилась на всю жизнь.

Собранную коллекцию камней Штифтер хотел бы посвятить рано скончавшемуся мальчику Густаву:

*«Если можно было бы посвящать коллекции умершим, и посвятил бы ее моему умершему молодому другу Густаву. Я познакомился с ним случайно, полюбил его, и он доверял мне, как отцу. Он радовался забавам и, как девочка, все еще любил поесть немного сладостей, и всегда получал их, когда сидел у меня за столом. Он, пребывая в своей светлой родине (*lichtere Heimath*), может быть, иногда вспоминает о старшем друге, все еще живущем в этом мире (*diese Welt*) и желающем еще на некоторое время (*ein Stückchen Zeit*) остаться в нем» [13, с. 16]*

Необходимо также напомнить, что пять из шести рассказов сборника вышли сначала как журнальные публикации и вошли в книгу в переработанном виде: *Die Pechbrenner (Granit)*, *Der arme Wohltäter (Kalkstein)*, *Der Pförtner im Herrenhause (Turmalin)*, *Der heilige Abend (Bergkristall)*, *Die Wirkungen eines weißen Mantels (Bergmilch)*. Только *Katzensilber* был написан специально для сборника. Подобно коллекции камней самого Штифтера, которую он хотел бы подарить умершему мальчику, он собирает свои рассказы в сборник под названиями различных камней и, по сути, посвящает свою книгу памяти Густава.

Первый рассказ в сборнике – «Гранит», первоначальное журнальное название – «Смолокуры» (*Die Pechbrenner*). Отметим, что Штифтер постоянно совершенствовал текст своего произведения. Сохранившиеся многочисленные

черновики к журнальной и книжной публикации свидетельствуют о тщательной проработке словесной и смысловой ткани. Все свои рукописи и черновики автор бережно сохранял, см. [12].

Рассказ писался в 1848 г., а его первая публикация состоялась в альманахе «Незабудка» (*Vergißmeinnicht. Taschenbuch für 1849*)<sup>9</sup>. Он имеет автобиографическую основу, на которую указывает Штифтер в письме к издателю «Незабудки» (от 2 марта 1848):

*«Материал фабулы взят из реального происшествия, случившегося во время последней чумы в южной Богемии, мой дед неоднократно рассказывал мне в детстве об ее обстоятельствах, и о них, в обработанном виде, в рассказе также повествует дед, с теми же выражениями и оборотами, которые он постоянно употреблял» [6, с. 278].*

У рассказа двойная композиционная рама (рассказ в рассказе): внешнюю рамку задает повествование рассказчика об одном эпизоде из своего детства, обрамляющем рассказ деда,

<sup>9</sup> Название журнала удивительным образом перекликается с семиотической проблематикой рассказа. Приведем стихотворение, раскрывающее появление имени «Vergißmeinnicht»:

«Als unser Herr einst Blumen schuf,  
 Stand jede da auf seinen Ruf,  
 Und alle in buntem Gewande kamen  
 Und fragten, sich neigend, nach ihren Nahmen.  
 Der Herr benannte die tausend Gestalten,  
 Befahl, den Nahmen wohl zu behalten.  
 Da kam am Schlusse, ein Blümlein zurück  
 Und klagte, mit einer Thräne im Blick:  
 Ich habe in dem großen Verein  
 Vergessen, Herr, den Nahmen dein. –  
 Der Herr, mit ernstem Angesicht,  
 Zum Blümlein freundlich drohend spricht:  
 Vergiß mein nicht! –  
 Das Blümlein dacht' der Rede nach,  
 Zog sich zurück an den stillen Bach;  
 Sein freundlich Blau, sein gelber Stern  
 Glänzt anspruchslos von Menschen fern.  
 Wenn gute Menschen vorübergehn  
 Und dieses freundliche Blümchen sehn,  
 Wenn stille Liebe es sinnend bricht:  
 Aus ihm noch die himmlische Stimme spricht:  
 Vergiß mein nicht!» [7, с. 191].

который он, в свою очередь, слышал от своего деда. Благодаря такой двойной композиции удастся не только создать еще один богатый событийный пласт, но и выстроить континуитет, так как оба рассказа оказываются связанными как через историю семьи, так и через историю смолокура Андреса.

«Зачин» рассказа, как известно, играет роль семиотического сигнала, направляющего читателя к выбору соответствующего семиотического кода для дальнейшего восприятия читаемого текста. Как уже отмечалось выше, подзаголовок, предисловие и вступление также служат для активизации предпонимания читателя.

Центральный образ – большой гранитный камень, расположенный рядом с домом (*Geburtshause*). По замечанию рассказчика, он лежит здесь с незапамятных времен и на нем сидели еще «самые древние старцы нашего рода» (*die urältesten Greise unseres Hauses*). Одним из «самых молодых отпрысков нашего рода» (*eines der jüngsten Mitglieder unseres Hauses*), который любил сидеть на камне, был в детстве и сам рассказчик. С камня открывался вид на окружающий мир – вспаханные поля, дальний лес и улицу. По субботам на улице появлялся торговец колесной мазью со своей тележкой, человек «странного вида» (*von seltsamer Art*), возбуждавший любопытство мальчика. Одним весенним утром торговец обратил внимание на мальчишку и предложил смазать ему пятки дегтем, на что тот незамедлительно согласился, испытывая к незнакомцу доверие. После этого торговец с улыбкой удалился, а мальчик прибежал домой и наследил своими ногами на деревянном полу, тщательно выскобленном и вымытом в преддверии светлого воскресного праздника. Увидев такое безобразие («*Was hat denn dieser heillose, eingefleischte Sohn heute für Dinge an sich?*») мать вынесла сына в сени и отхлестала его прутьями по ногам, в результате чего все окружающие предметы покрылись темными маслянистыми пятнышками дегтя. Такой «ужасный оборот дела», «раздор с самым для меня дорогим на этой земле родичем» сильно огорчил мальчика.

Через «деготь» (*Pech*), запятнавшим ноги мальчика и переднюю в доме, в гармоничный и невинный мир мальчика, в его дом и семью вторгается «непорядок». Сам того не желая, он запачкал не только себя, но и мир вокруг себя.

«Деготь» ассоциировался в народном сознании с Адом, полным кипящей смолы и дегтя (ср. сохранившиеся в современном немецком языке выражения: «*zusammenhalten wie Pech und Schwefel*», «*Wer Pech angreift, besudelt sich*», «*Pech an Hosen haben*») [14, с. 324]. Поэтому понятно почему мать, увидев сына в дёгте называет его «*heillos*» – безбожный и «*eingefleischt*» – неисправимый (вошло в плоть).

В таком состоянии его нашел дед, без лишних слов отмыл его и переодел. Мытье ног внука дедом напоминает известный библейский эпизод омовения ног Спасителем ученикам своим, показавшим пример смирения и кротости, равенства и любви.

Затем дед, собирающийся по делам в соседнюю деревню, берет внука с собой (автор задает традиционный мотив дороги и проводника). И только в пути дед спрашивает о том, как он сумел вымазаться в дегте и внести в дом «непорядок». Внук делится своим горем и печальным опытом. Удивительно, но дед не стремится обвинить Андреаса, так зовут смолокура, наоборот, пытается понять его поступок и объяснить внуку. Андреас явно амбивалентный персонаж. С одной стороны, он проказник, шутник, человек без дома и семьи. С другой, Андреас включен в социальный мир – он торгует смазочным дегтем и аккуратно подбирает упавшие на землю капли, а по воскресеньям посещает церковь. Одновременно дед пытается объяснить причины раздражения матери.

Понимая, что причиной разлада стала «невинность» внука, его незнание о свойствах дегтя, он обещает показать ему смолокурню и рассказать ему удивительную историю о смоловарах, таких как Андреас.

Но прежде, чем приступить к повествованию, он рассказывает ему о достопримечательностях местного ландшафта, которые они встречают и видят на своем пути, – роднике, травах, лесах, пастбищах, горах и т. д. Многие из них внук уже знает, но ему, как и деду, доставляет радость вновь узнавать знакомое. Дед на все последовательно указывает и называет по имени, и хочет, чтобы внук «хорошенько запомнил». В природном ландшафте дед указывает внуку на деятельность человека – дровосеков, угольщиков, косарей, смоловаров и др. Затем они рассматривают прилегающие к лесам поселения.

Такая подробная «рекогносцировка» необходима деду для того, что приступить к обещанной внуку истории из далекого прошлого, которые он, в свою очередь, слышал от своего дедушки. В упорядоченное пространство вторгается страшное и экстраординарное – чума. Смерть от нее сравнивается со смертью на страшном суде (*Strafgericht*). Отметим созвучие в немецком языке «*Pech*» и «*Pest*», выступающими в рассказе контекстуальными синонимами.

Предметная прелюдия и сама история, по сути, свод знаний об окружающем мире. Природный мир окультурен человеком и семиотически заряжен. Везде дедушка указывает внуку на знаки (*Zeichen*), раскрывая, помимо их предметного значения, культурные смыслы. Например, сосна с тремя стволами (*Drillingsföhre*), с которой птичка пропела крестьянину рецепт спасения от чумы, и поэтому ее нельзя рубить.

Мир полон таких значимых знаков, но их смысл для многих уже не понятен и не доступен. Разрыв в этом звене, т.е. утрата памяти, трагичен. Узнаваемые знаки объединяют распавшийся мир. Примером может служить церковный звон:

*«Замечательный обычай отмечать в субботу вечером колокольным звоном канун праздника господня, означающего (dieses Zeichen gegeben wird), что все сугубо земное должно соблюдать покой... Этот обычай происходит от язычников, живших ранее в этих краях, для них каждый день был одинаков, и поэтому, когда их обратили в христианство, им давали знать (ein Zeichen geben mußte), что начинается день Господень. Когда-то этому придавали большое значение (einstens wurde dieses Zeichen sehr beachtet); как только звонил колокол, люди прерывали свою тяжелую работу дома или в поле и начинали молиться» [4, с. 217; 13, с. 45-46]*

В семье этот «знак» сохраняет свое значение. Но, замечает дед, «другие уже не обращают на него внимания (*beachten das Zeichen nicht*), они работают в поле или у себя в комнате, как, например, наш сосед ткач: даже в субботние вечера слышно, что он трудится до глубокой ночи, когда небо уже густо усеяно звездами» [4, с. 217; 13, с. 45-46].

Знаки имеют свою иерархию, задавая тем самым вертикаль смыслов для человека. Одним из таких важных в познавательном и эмоциональном плане является знак, указывающий на чуму и стоящие за ней смысловые поля. О

чуме напоминают имена многих местечек в окрестности (*Pestwiese, Peststeig, Pesthang*). В благодарность за избавление от чумы жители Оберплана поставили на рыночной площади «Чумную колонну» (*Pestsäule*). К сожалению, замечает дедушка, ее больше нет, а на ней «можно было прочесть, когда возникла чума и когда она прекратилась, на колонне были также высечены слова благодарственного молебна Иисусу Христу, фигура которого увенчивала колонну» (*auf welcher man lesen konnte, wann die Pest gekommen ist, und wann sie aufgehört hat, und auf welcher ein Dankgebet zu dem Gekreuzigten stand, der auf dem Gipfel der Säule prangte*) [4, с. 220; 13, с. 53]. Колонны нет – но память о ней и о событии, которое она символизирует, сохраняется в устных преданиях (повествование постоянно дублируется – бабушка тоже о ней рассказывала внукам; избыточность в данном случае показывает важность знака и стоящего за ним события).

Разрушена и ограда, ограждающая массовое захоронение:

*«Но с тех пор выросли новые поколения, – продолжал дед, – они ничего об этом не знают и пренебрегают прошлым, ограда вокруг погостов исчезла, и места эти заросли травой. Люди легко забывают старую беду и считают, что здоровье им обязан ниспослать господь, а они в свои лучшие годы могут его беззаботно растрачивать. Эти поколения не питают никакого уважения к тем местам, где покоятся усопшие, и с такой же легкостью произносят слово „чума“, как и всякое другое слово, например „боярышник“ или „тис“ (sagen den Beinamen Pest mit leichtfertiger Zunge, als ob sie einen anderen Namen sagten, wie etwa Hagedorn oder Eiben)»* [4, с. 220; 13, с. 54].

Чума отражена и в прецедентных текстах, важных в эмоциональном и познавательном плане. Например, пословица, связанная с единственным работником-горбуном на мельнице во время чумы:

*«У меня больше работы, чем у горбуна на мельнице» /*

*«Ich habe mehr Arbeit als der Krumme im Hammer»* [4, с. 219; 13, с. 51].

Изображая страшное, писатель далек от того, чтобы запугать читателя и внушить ему страх перед стихийным началом. Именно в такие моменты открывается смысл бытия, ценность и гармоничность семейной и общинной жизни, утрата которой может быть трагичной.

Такая трагедия связана с рассказом о смолокуре, который вместе с семьей, слугами и скотом, укрылся от чумы в удаленном высокогорном лесу. По словам деда, этот смолочвар «хотел избежать во время чумы всеобщей кары („Heimsuchung“)<sup>10</sup>, которую Господь послал людям» [4, с. 221]. Чтобы избежать болезни, он готов убить кочергой любого, кто пришел бы к ним. С оставшимся внизу братом он договорился о знаке (*Rauchsäule*), которые известил бы о начале чумы и об ее окончании.

Однако, замечает дед, смолочвару это не помогло, «все его старания были лишь искушением Господа Бога» [4, с. 223]. Поступок воспринимается как знак искушения Бога (*eine Versuchung Gottes*). Наказание было суровым – вся большая семья смолокура умерла от болезни. В живых остался только маленький сын. Вскоре он находит в колючих кустах ожины больную девочку, родители которой также умерли от чумы. И если его отец, был готов на убийство, чтобы спасти себя, то сын проявляет большую заботу о девочке. Они вместе спускаются вниз к людям и оказываются среди родных: мальчик у дяди-смолокура, девочка – у богатых родственников. Спустя годы они поженились и жили в почете и уважении.

Свой рассказ дед заканчивает уже поздно вечером, сидя на камне у дома. Их приветливо встречает бабушка и отец, а перед сном к нему пришла мать, «перекрестила, дотронувшись до лба, рта и груди. Я понял, что она мне все простила. Тут я вскоре заснул, обрадованный примирением и, можно сказать, вполне счастливый» / «*machte mir das Kreuzzeichen auf Stirn, Mund und Brust, ich erkannte, daß alles verziehen sei, und schlief nun plötzlich mit Versöhnungsfreuden, ich kann sagen, beseligt ein*» [4, с. 229; 13, с. 78].

Штифтер живет и творит во время, чреватое катастрофами и изменениями глобального характера (Наполеоновские войны, революции, научно-технический прогресс). Такому линейному развертыванию мира писатель противопоставляет нечто неизблемое – вертикаль духа с истинной шкалой ценностей, целостное видение мира.

---

<sup>10</sup> Используемое в немецком языке слово *Heimsuchung* первоначально означало в средневековом праве *Hausfriedensbruch* (вторжение в домашнее пространство), употребляется в Библии для обозначения кары, наказания. Через нарушение порядка в *Heim/Haus* проводится параллель между событием с дегтем в отцовском доме (*Vatershaus*) и событием с семьей смолокура.

А. В. Михайлов приводит в одной из статей слова М. Хайдеггера о Штифтере:

*«Вот что творится в слове поэта Адальберта Штифтера – оно указывает подлинно великое в малом, указывает на незримое сквозь явность и сквозь обыденность человеческого мира, дает услышать невысказанное в сказанном» [2, с. 440].*

Для Штифтера отношение между знаком и его содержанием не носят условного характера, напротив, через знаки проявляются вечные и предустановленные значения («вседержущий закон»).

Вспомним название рассказа и один из центральных образов рассказа – большой гранитный камень. Это тоже знак. Хотя исследователи (из известных автору статьи) не видят связи между названием минералов и содержанием рассказов (так, например, считал А. В. Михайлов [1]).

Приведем два определения «гранита» из словарей штифтеровского времени:

- (1) *Granit – «eine Steinart des Urgebirges, die aus Glimmer, Feldspath und Quarz besteht» [13, с. 680];*
- (2) *Granit – «eine Urgebirgsart, bestehend aus einem Conglomerat von kleinen Stückchen Quarz, Feldpath und Glimmer, welche in und mit einander, ohne fremdartigen Bindeteig, verwachsen sind. Diese einzelnen Bestandtheile sind bei den verschiedenen Arten von verschiedener Größe und Korn (der Feldspath ist am häufigsten auskrystallisirt) und können nur zu gleicher Zeit niedergeschlagen und verbunden worden sein» [9, с. 513].*

Гранит – первозданная горнокаменная порода зернистого характера, в которой плотно сплавлены слюда, полевошпат и кварц. Штифтер пишет, что камень, лежащий перед домом «очень стар, никто не помнит, с какого времени он здесь лежит. <...>. О его древности можно судить и по плитам песчаника (Sandsteinplatte), служащим ему фундаментом: они совсем истоптаны, а в том месте, где они проходят под сточной трубой, испещрены глубокими дырами от падающих капель» [4, с. 207].

Гранитный камень – знак сплоченности, единства и равенства, знак семьи и человеческой общности. Пока это единство сохраняется – время бессильно. А о бренности



человеческого существования напоминают истонченные плиты песчаника, осадочной породы, легко склонной к крошению.

С образа гранитного камня рассказ начинается и им же заканчивается. Рассказчик в начале вспоминает как он ребенком сидел на камне и созерцал окружающий мир, а в конце на камне играют дети сестры и часто сидит матушка, *«и смотрит вдаль, туда, где рассеяны ее сыновья»* / *«nach den Weltgegenden ausschauen, in welche ihre Söhne zerstreut sind»* [4, с. 230; 13, с. 79]. Кольцевая композиция подчеркивает внутреннее единство семьи.

В тексте Штифтера слова максимально сближены с предметом, неслучайно дедушка сначала показывает его внуку, а только потому называет. Штифтер выдвигает зрение на первое место среди других чувств. Все окружение человека имеет значение – предметы природного и культурного мира являют знаковую систему, которую человек должен уметь видеть, читать и понимать. Мир и человек как творения Бога имеют высший смысл, постижение которого связано с углублением во внешние знаки. Наблюдение естественного хода вещей и окружающей природы позволяет увидеть в привычном и обыденном великое и чудесное.

Герои Штифтера методично и систематично описывают природный и предметный мир, не упуская ничего из своего видения. Они, подобно библейскому Адаму, переживают момент первичного творения мира. Напомним, что драматург Ф. Геббель упрекал Штифтера за перенос повествовательного интереса с судьбы и личности человека на предметный мир:

*«Erst dem Mann der ewigen Studien, dem behäbigen Adalbert Stifter, war es vorbehalten, den Menschen ganz aus dem Auge zu verlieren, und in diesem vollzog sich denn auch die Selbstaufhebung der ganzen Richtung, die in seinem „Nachsommer“ entschieden den letzten denkbaren Schritt gethan hat».*

Произведение Штифтера из сферы «эстетической» (художественной) перешло в область «общеполезных знаний». В характеристике стиля романа «Бабье лето» Геббель едко замечает, *«видимо, он рассчитывает, что читателями его будут Адам и Ева, ибо только им одним могли быть неизвестны те вещи, которые он описывает так обстоятельно и пространно»* [11, с. 118-119].

Это ирония и очень точное замечание одновременно. Штифтер ставит своего юного читателя, наивного и неискушенного, в ситуацию Адама, открывающего и именуемого созданный Богом мир. Рассказ можно рассматривать как парафраз первых трех глав ветхозаветного «Бытия».

Автор, конечно, поучает читателя. Но делает это ненавязчиво, неторопливо, незаметно, сопоставляя небо и землю, земное и вечное, подводя «юное сердце» к очевидности предустановленного высшего смысла. Воспитание не терпит спешки, важно не только показать знак, но объяснить место и роль в жизни человека, сделать его частью личного мира и одновременно через него почувствовать себя включенным в большой мир. Во всем своем творчестве Штифтер стремится раскрыть связь человека с природой и историей, восстановить порушенное мировое целое.

Опять вспомним драматурга Геббея, требовавшего показывать в творчестве величие деятельного человека. Штифтер отвечает ему:

*«Но какими бы мощными и великими порывами ни проявлялось действие трагического и эпического, какими бы отличными орудиями ни были они для искусства, все же главным образом и всегда обыкновенные, повседневные, без числа повторенные поступки людей наиболее прочно хранят в себе закон как центр тяжести, ибо такие поступки длительны и основательны, как миллионы волокон от корня дерева жизни» [5, с. 476].*

Величие в повседневной жизни:

*«<...> жизнь, исполненная справедливости, простоты, сдерживания самого себя, разумности, деятельности в кругу своего, любви к прекрасному в соединении со спокойной и светлой смертью, это я считаю великим» [5, с. 475].*

Художественный мир Штифтера варьирует мифологическую модель мира в условиях широкой демифологизация реалистической системы. Сакральное и бытовое в его творчестве неразрывно связаны. Модель Штифтера четко ориентирована на прошлое, момент творения, мир предков, настоящее – это повторение прошлого, что закреплено в обрядах (религиозных, семейных, социальных). Слова-символы (чума) или знаки-символы (камень),

насыщенные мифопоэтическим потенциалом, разворачивают вертикаль смысла, где любая вещь соизмеряется с верхом и низом, с вечным идеалом и его отрицанием. В содержательном плане модель мира в творчестве Штифтера ориентирована на предельную метафизичность сущего и тем самым на описание космического порядка и его основных параметров – пространственно-временных, причинных, этических, персонажных и др.

Прошедшее не уходит в небытие, а, подвергаясь ценностному отбору и семиотическому закреплению, постоянно регенерируется. Хранящиеся в памяти знаки-символы, включенные в современный контекст, задают глубину происходящему событию. Так деготь (*Pech*) из смазочного средства, с одной стороны, разворачивает концепт ада – мира без любви, с другой стороны, вызывает память о чуме (*Pest*), как наказании Господнем, ниспосланном на людей за их грехи, в частности, за гордыню. Любовь и кротость, которые проявляет дед по отношению к внуку, восстанавливают порушенную гармонию в семье и в душе мальчика и возвращают ощущение порядка.

Штифтер мастер затрудненной формы. Отступления и подробные описания, тормозящие развитие действия, задающие плавность и неторопливость, выступают как прием введения нового для юного сознания знания. Однако при всех отклонениях от прямого повествования, автор постоянно поддерживает ожидание читателя на скорое обращение к обещанной истории. Сам рассказ о семье смолокура начинается только в середине обратного пути домой. Дедушка, указывая на знаки в окружающем мире, повторяет уже знакомое и родное, и тем самым подготавливает внука к пониманию нового знания и параллели к трагическому событию в жизни мальчика (*Pest/Pech*).

### **Библиография:**

1. Михайлов А. В. Адальберт Штифтер // История всемирной литературы: В 9 т. Т. 7. М.: Наука, 1991. С. 395-398.
2. Михайлов А. В. Избранное. Историческая поэтика и герменевтика. СПб.: СПбГУ, 2006. 560 с.

3. Неизвестный В. Я. Пропп: Древо жизни. Дневник старости. Переписка / Предис., сост. А.Н. Мартыновой; Подг. текста, комм. Л.Н. Мартыновой, Н.А. Прозоровой. СПб.: Алетейя, 2002.
4. *Штифтер А.* Гранит / Пер. А. Авербаха // Австрийская новелла XIX века. М.: ГИХЛ, 1959. С. 270-230.
5. *Штифтер А.* Предисловие к «Пестрым камням» / Пер. А.В. Михайлова // История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли: В 5 т. Т. 3. М.: Искусство, 1967. С. 473-478.
6. Brief von A. Stifter an K. Herloßsohn (vom 2. März 1848) // Stifter A. Sämmtliche Werke. Bd. XVII. Briefwechsel. Reichenberg, 1929.
7. Der Sammler. Ein Unterhaltungsblatt. 14. Jahrgang. Wien: Verlag bey A. Strauß, 1822.
8. *Droste-Hülshoff A. von* Historisch-kritische Ausgabe. Werke. Briefwechsel: Briefe 1843-1848. Bd X (1) / Hrsg. von W. Woesler. Tübingen: Niemeyer, 1992.
9. Encyclopädisches Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe / Hrsg. H.A. Pierer. Band 8: G bis hältiges Gestein. Altenburg: Literatur-Comptoir, 1827.
10. Friedrich Hebbel's Sämmtliche Werke. Bd. 8: Gedichte aus dem Nachlass. Epigramme. Mutter und Kind. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1867.
11. *Hebbel F.* Das Komma im Frack // Friedrich Hebbel's Sämmtliche Werke. Bd. 10: Zur Theorie der Kunst. Charakteristiken. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1867. 392 S.
12. *Hettche W.* Fassungen des Autors und Materialien des Erzählers. Die Textzeugen zu Stifters "Granit" und "Bergmilch" // Adalbert Stifter. Tra filologia e studi culturali. Milano, 2001. S. 53-62.
13. *Stifter A.* Bunte Steine: in 2 Bdn. Bd. 1. Pest: Verlag Gustav Heckenast, 1853. 264 S.
14. Vollständigstes Wörterbuch der deutschen Sprache / Hrsg. von W. Hoffmann. Band 4: Märtyrer – Schließ. Leipzig: Dürr'sche Buchhandlung, 1857.
15. Vollständigstes Wörterbuch der deutschen Sprache / Hrsg. von W. Hoffmann. Band 2: E - Hauptspruch. Leipzig:

Dürr'sche Buchhandlung, 1854.

**АДАЛЬБЕРТ ШТИФТЕР И КАРЛ ШПИЦВЕГ:  
ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЛИТЕРАТУРЫ  
БИДЕРМЕЙЕРА**

**Г. А. Лошакова**

**Ульяновский государственный университет  
им. И. Н. Ульянова**

В Австрии в начале XIX века происходит формирование культуры бидермейера, сочетавшей в себе элементы некоторых других направлений (Просвещения, сентиментализма, романтизма). Возникает специфическое культурное течение, носящее, помимо бидермейера, название «австрийская» или «венская культура». Литературный бидермейер был созвучен живописному в выборе тем, их проработке, в передаче природных явлений и в изображении пейзажа. А. Штифтер, сам в прошлом живописец, с восхищением отзывается о картинах К. Шпицвега. Живопись и литература периода бидермейера в немецкоязычных странах имели общие черты. Это было выражено в обращении к сценам из повседневной жизни бюргерства при преобладании непритязательного, естественного, нередко комического авторского взгляда. Отсюда распространённость жанровых сцен, в которых были показаны незамысловатые сюжеты (свидание, чтение, прогулки, ландшафт и пленэр).

**Ключевые слова:** бидермейер, венская культура, жанровая сцена, природные лейтмотивы.

**Adalbert Stifter and Karl Spitzweg: The Intermedial Aspect of Biedermeier  
Literature  
G. A. Loshakova  
Ulyanovsk State University**

In Austria, at the beginning of the nineteenth century, the Biedermeier culture was being formed, combining elements of some other trends (Enlightenment, sentimentalism, Romanticism). A specific cultural trend arises, bearing, in addition to Biedermeier, the name «Austrian» or «Viennese culture». The literary Biedermeier was consonant with the picturesque in the choice of themes, their elaboration, in the transmission of natural phenomena and in the depiction of the landscape. A. Stifter, himself a painter in the past, speaks with admiration about the paintings of K. Spitzweg. Painting and literature of the Biedermeier period in German-speaking countries had common features. This was expressed in the appeal to scenes from the everyday life of the burghers with the predominance of an unassuming, natural, often comic author's view. Hence the prevalence of genre scenes in which uncomplicated plots were shown (dating, reading, walking, landscape and plein air).

**Keywords:** Biedermeier, Viennese culture, genre scene, natural leitmotives.

Для характеристики литературы данного периода в Австрии необходимо обратиться сначала к историческим процессам и реалиям, происходившим и утверждавшимся в первой половине XIX века. На Венском конгрессе (1815) был

создан, как известно, Священный союз, в котором для сохранения консервативного порядка на европейском континенте объединились Пруссия, Австрия и Россия. Главной идеей конгресса становится идея реставрации монархии и соответствующих ей норм государственного и общественного правления. Символической фигурой, воплотившей в своей политике режим Реставрации, был государственный канцлер Австрии Клеменс Лотар Меттерних (1773-1859). Не без его влияния Священный союз проводил *«интервенционистскую политику»* [1, с. 223], стремясь подавить любое проявление либеральных и национальных идей, в какой бы стране они ни распространялись. В социальной и общественной жизни отсутствие возможностей политической деятельности вело к уходу в мир семьи, частных интересов [5; 6].

В Австрии в исторический период, названный эпохой Реставрации в Европе, и происходит формирование культуры бидермейера, сочетавшей в себе элементы некоторых других культурных направлений (Просвещения, романтизма). Возникает специфическое культурное течение носящее, помимо бидермейера, название «австрийская» или «венская культура». Обращаясь к данному явлению, мы разделяем точку зрения историков культуры, что бидермейер является «стилем бюргерства», который не обладал, однако, в целом какими-то общими чертами [8, с. 31]. Культура и литература бидермейера возникали, таким образом, как ответ на определенные запросы времени. Обращаясь к действительности, культура выражала в целом охранительные тенденции эпохи Реставрации, идеализируя действительность, доказательством чего служат многочисленные жанровые сцены, пейзажи и натюрморты в живописи и литературе этого периода. Г. Фродль отмечает следующие жанры бидермейера: историческое полотно, картина на религиозный сюжет, портрет, жанровая и ландшафтная живопись, натюрморт [4, с. 6]. В живописи австрийского бидермейера можно обнаружить как сентиментальные, так и драматические черты. Мастерами старой венской школы называют пейзажистов Ф. Гауэрмана и Ф. Вальдмюллера. Акварели для детей писал П. Фенди, Ф. фон Амерлинг был известен как блестящий портретист.

Е. Д. Федотова подчеркивает, что важнейшей чертой бидермейера была неопределенность жанров.

«Это было следствием нового исторического понимания движения времени, интереса к изображению явлений современной жизни, отказа от академически строгой иерархии жанров» [2, с. 24].

Федотова подчеркивает, что в живописи бидермейера большую роль начинает играть жанровая бытовая сцена, а резкое противопоставление между цивилизацией и естественной природой уходит.

«В <...> живописи уже не существовало романтического противопоставления цивилизации и красот естественной природы, излюбленным мотивом был городской пейзаж, сближенный с произведениями бытовой живописи (сцены на городских улицах и площадях, парады)» [2, с. 24].

По ее утверждению, «каждое полотно превращалось в яркую жизненную мизансцену». Примером такой сцены она считает описание жизни города, данное Э. Т. А. Гофманом («Кавалер Глюк»). Федотова отмечает также, что одними из первых мастера бидермейера обратились к пленэрной живописи, изображению «фигур в пленэре»: своеобразной разновидности пейзажа или бытовой картины [2, с. 10]. Эту особенность отмечали исследователи живописного бидермейера и ранее.

Одной из ярких форм проявления австрийского бидермейера стала также культура салонов. Так основательница Общества друзей музыки Ф. Арнштайн (1758-1818) создала салон, который был центром притяжения для многих представителей культуры и политической элиты. Литературный салон К. Пихлер (*K. Pichler*, 1769-1843) посещали Ф. Грильпарцер, Ф. Шлегель, Н. Ленау. Нередко, благодаря салонам, писатели и художники этого периода становились знаменитыми. Там они знакомили читающую публику со своими произведениями и устанавливали контакты. Не только в салонах буржуазии, но и в бюргерских домах этого времени охотно занимались музыкой и живописью, стихосложением и постановками спектаклей для своего круга.

Следует подчеркнуть, что литературный бидермейер был созвучен живописному в выборе тем, их проработке, в передаче природных явлений и в изображении пейзажа. Не случайно А. Штифтер, сам в прошлом живописец, в 50-е годы в своих заметках, публиковавшихся в *Linzer Zeitung*, с восхищением отзывается о картинах К. Шпицвега (*Carl Spitzweg*, 1808-1885) [7].



Художник, рисовальщик и иллюстратор Шпицвег был, как известно, одним из ярчайших представителей стиля бидермейер. Его картины получили широкое признание у публики после Парижской всемирной выставки в 1867 году. Шпицвег оставил после себя огромное творческое наследие: более 1500 картин, акварелей и набросков. Среди них наибольшую известность получили «Бедный поэт» (1839), «Любитель кактусов» (1845), «Пикник» (1864), «Книжный червь» (1850), «Сенокос в горах» (1865) и многие другие произведения.

В картине «Ночной ландшафт при свете луны» он отмечает природные лейтмотивы, часто встречающиеся в его собственном творчестве.

*«Восходящая луна в дымке облаков, окружающих ее, едва заметное живое движение воздуха, одинокая тропинка, которая уводит вверх от водоема, травы, чьи верхушки устремляются в звучащий серебряными тонами воздух, небесные звуки, льющиеся за тропинкой, находящийся вдалеке от тропинки трактир, а также кустарник и заросли вместе с неподвижной водой и заросшей мхом лодкой...» [12, с. 450].*

Мастерство Шпицвега в изображении предметов напоминает, по мнению Штифтера, о художниках позднего Средневековья. Штифтер называет пейзаж Шпицвега «почти эпическим», вместе с тем «неопределенность действия <...> допускает различные догадки» [12, с. 451]. Пейзаж «На баварском высокогорье» представляется Штифтеру также мастерски выполненным.

*«Аромат, тишина, одиночество и торжественность альпийского мира пронизывают все в картине» [12, с. 451].*

Для Штифтера важно почувствовать тишину, уединенность, «чудесный аромат солнечного дыхания» гор.

В жанровой картине Шпицвега «Прогулка» Штифтер находит «озорство». И далее он выстраивает сюжет происходящего в своем авторском дискурсе. Он описывает «ничем не примечательную местность, с которой открывается далекая веселая картина и на которой видна башня сельской церкви, священника, или, может быть, сельского пастора, читающего книгу на узкой пешеходной тропинке, перед ним бежит его собачка...» [12, с. 451]. Безобидной шуткой можно считать, что зачитавшийся человек вот-вот должен ступить помимо доски, положенной

через узкий ручей. Штифтер снова отмечает мастерство в изображении пейзажа.

*«Пронизанный облаками, но светлый послеобеденный воздух обволакивает, поднимаясь вверх так чисто, ясно, благовонно и прозрачно, что нечасто можно увидеть, ... дали изображены так четко малыми художественными средствами, что глаза с удовольствием останавливаются на них, а также следят за дорогой...»* [12, с. 452].

Для Штифтера важны тишина и мир, исходящие от картины Шпицвега.

Свет, который является одним из важнейших элементов живописного стиля Шпицвега, как известно, также становится важнейшим компонентом пейзажа произведений А. Штифтера. В данном случае можно констатировать воздействие христианской идеи, скорректированной в мировосприятии будущего писателя учением неоплатоников о свете. Штифтер не был теоретиком в теологических вопросах, однако со времен Кремсмюнстера, монастыря бенедиктинцев, где получил образование в детстве, он заимствовал из религии категории, которые воплощал потом в своем творчестве. Это, прежде всего, понимание порядка и иерархии, формы и ритуала. Сюда можно отнести, на наш взгляд, и осмысление света, которое дано во многих его произведениях. Следует отметить и его интерес к исследованиям Вселенной как к средоточию света, о чем свидетельствует его набросок романа о Кеплере [7]. Обращаясь к ранним произведениям Штифтера, К. Бегеман не случайно определяет их как *«космические фантазии»*. Так, исследователь приводит стихотворение из письма, датированного 1836 годом, которое, по всей видимости, принадлежит самому Штифтеру.

*«Und der Herr der all die Sterne  
So wie Säuglinge am Busen hält  
Sieht durch seiner Himmel Ferne  
Auch mit Huld auf unsre Erdenwelt.  
Dich auch lässt er liebeich säugen  
Mit des Himmels Milch, dem süßen Licht»*  
[3, с. 127]<sup>11</sup>.

<sup>11</sup> «И Господь, держащий все звезды, как младенцев, у груди, смотрит через небесные дали на наш земной мир. Тебя он также допускает милостиво и щедро насыщаться небесным молоком, сладостным светом» (Перевод наш – Г. Л.).

Бегеман отмечает также, что мотив света в творчестве Штифтера непосредственно связан с мотивом луны. Так Густав, протагонист «Кондора» выставляет два пейзажа, изображающих лунную ночь. Указывая на литературных предшественников (Л. Тик, Й. Эйхендорф, И. В. Гете) Штифтера, исследователь подчеркивает «создание через изображение лунной ночи нового пространственно-временного континуума», в котором обычное мировосприятие заменяется или дополняется фантастическими образами. Именно в такой традиции созданы пейзажи героем «Кондора» и именно таково описание лунной ночи в его дневнике.

*«Можно было увидеть, как луна постепенно снижалась на небосклоне; облака, похожие на стадо овец, медленно бредущих по синему небу к югу, тихо вспыхнули...» [9, с. 15].*

В эпилоге вновь появляется мотив лунной ночи, но уже как воспоминание, преображенное искусством художника в вечную красоту. Штифтер суггерирует впечатление, нагнетая его, «заговаривает», завораживает читателя. Изображение световых эффектов становится в дальнейшем экзистенциальной сущностью литературного пейзажа Штифтера, в котором выразилось стремление прозаика передать многообразие и игру природных стихий и явлений.

Так мягкий, осенний свет становится частью пейзажа романа «Бабье лето». Символика этого света четко выражена в структуре романа: неяркий, отраженный свет, смягченный приближением осени, соответствует настроению Ризаха и Матильды, уже немолодых, уставших от жизни и перипетий чувства героев. Барон фон Ризах предстает перед читателем в приглушенном, струящемся свете своих комнат, иногда в достаточно ярком, в саду среди роз и других цветов, напоминающих ему далекую любовь юности. Следует отметить, что контрастные тона, как белый и черный, остаются окончательно в ранней новеллистике Штифтера. В романе устранен черный цвет. Торжествует светлая тональность, которая имеет множество оттенков (отсвет роз в доме, греческая статуя в Асперхофе, беломраморная фигура в фонтане Штерненхофа, блеск горных вершин).

Особое значение в рамках бытовой культуры бидермейера имело путешествие во всех его возможных формах и проявлениях, будь то экскурсия по городу, загородная

прогулка, исследовательская экспедиция или странствие ради странствия. Именно они создают своеобразный комический эффект его картин. Г. Тетчингер отмечает, что бидермейер положил «начало страсти к путешествиям» [13, с. 12]. Путешествующее семейство, экскурсанты, отправляющиеся на прогулку, бредущие по саду одинокие холостяки или исследующие растения и травы чудаки становятся также излюбленными персонажами жанровых сцен Шпицвега («Прогулка», «Любитель кактусов», «Пикник», «Воспоминание об аромате роз», «Художник в саду» и др.). А. Штифтер не менее ярко выразил настроение бидермейера в дискурсе странствия.

Начало указанного дискурса было положено Штифтером в очерках, объединенных под общим названием «Вена и венцы» и вышедших отдельно в 40-е годы (*Wien und die Wiener*). Повествование строилось там даже не столько в рамках странствия, сколько прогулки (*der Spaziergang*) по Вене. Примером «прогулочного» дискурса может быть описание автором Пратера. В основу дискурса положен здесь принцип живого общения с незнакомцем, юным путником, впервые попавшим в столицу, отсюда непринужденный диалог, в котором выражено стремление как можно более подробно объяснить, показать, рассказать, следовательно, в конечном итоге приобщить к миру, ввести в него. Перед читателем предстает образ гигантского имперского парка, в котором погожим весенним днем к главной аллее движется поток веселых и наряженных людей, как пеших, так и конных. Подробно, со всей конкретикой ландшафта изображены в очерках Штифтера и окрестности Вены. Повествователь ведет за собой читателя уже за пределы Вены, словно бы по географической точно выверенной карте. Стремление Штифтера запечатлеть мир в его «вещной» осязаемости и осязаемости выражено в очерке «Экскурсии и загородные прогулки» (*Ausflüge und Landparteien*). Перечисленные точно географические названия являются знаками, содержание которых было хорошо известно имплицитно присутствующему читателю-реципиенту.

*«На востоке Вены находится местечко Зиммеринг, которое затягивает в воскресные дни жителей лежащих неподалеку от него пригородов; далее справа располагается городское имение, салон, где также часто устраиваются фейерверки,*

иллюминации, фарсы и подобное; потом – Мейдлинг, Лизинг с пивом Фельзенкеллер. – На западе находится Пейнцинг, Санкт Вейт, Хюттельдорф (пивоварня) и меньшие населенные пункты. На севере и северо-западе Деблин, Гринцинг, Сиверинг, Нуссдорф, Веддинг» [11, с. 435].

В зарисовках «Вена и венцы» повествователь – это даже не странник и не путешественник, он экскурсант, исследующий окрестности Вены, чтобы получить удовольствие от созерцания. Он турист, который делает «вылазки за город... на народные гуляния, потом на воздух, к свету, к еде, напиткам и веселью» [11, с. 440]. Этот персонаж словно бы сходит из жанровых зарисовок К. Шпицвега. Штифтер выделяет особо экскурсантов, которые даже не расстаются со своими повозками и каретами и наблюдают за всем именно оттуда. Штифтер называет их пловцами (*die Schwimmer*). Повествователь (эксплицитно или имплицитно выраженный) в данном случае также относится к числу фланеров или экскурсантов и словно бы дан под углом зрения Шпицвега.

Перечисление географических точек создает представление об отдыхе жителей Вены. «Сплошное» пространство становится идиллическим. Перечисление географических объектов имеют функцию создания объемного пространства, в котором читатель может обрести гармонию с миром. Повествование более крупных произведений Штифтера, новелл, рассказов и романов, строится также на сюжетной основе движения, странствия героя (*das Wandern*). Однако веселое «бидермейеровское» странствие переосмысливается Штифтером в дальнейшем в философском аспекте, приобретая нередко трагический оттенок («Лесной ходок»). С помощью мотива странствия Штифтер также поучает и приобщает своего, как правило, молодого героя к непреложным естественным законам бытия («Гранит», «Лесная тропа», «Лесной ручей»). «Экскурсанты» и фланеры Штифтера превращаются в странников, ищущих истины и познания на своем пути и преодолевающих во имя этого духовные неурядицы и катастрофы. На данном примере следует отметить в очередной раз основное композиционное и содержательное отличие литературы и живописи по Г. Э. Лессингу. Литературное произведение дает возможность развернуть сюжет во времени, поэтому можно отметить эволюцию персонажей Штифтера, их постепенное

преображение из «экскурсантов» и путников в людей, ищущих или нашедших свое счастье. Фланеры Шпицвега обречены застыть в комическом положении прогуливающихся, часто странных персонажей, чудаков-бюргеров, рассматривающих ландшафт и растения, делающих рисунки в чудесном рассеянном свете дня или сумерек.

Следует также указать на внешнее противоречие, невольно напрашивающееся при сопоставлении произведений Шпицвега и Штифтера. На первый взгляд, в персонажах Штифтера не так много черт бидермейеровского комизма, присущего живописным образам Шпицвега. При более пристальном рассмотрении, однако, этот тезис потребует определенной корректировки. Как в раннем периоде творчества австрийского прозаика, так и в позднем можно найти интересные новеллы и рассказы, в которых на первый план выйдет комическая, бытовая ситуация весьма странными героями. Здесь можно обратиться к одному из поздних рассказов Штифтера «Святое изречение» (*Der fromme Spruch*, 1867). Как во многих предыдущих произведениях писатель обращается к теме семьи, любви, связи поколений. Он буквально «заклинает» и в произведениях 60-х годов прочность и святость семейных уз, неразрывность поколений.

Родственные и семейные связи сплетаются в «Святом изречении» в некий загадочный узел. Завязка повествования связана с торжественным и радостным событием в старинной аристократической семье фон дер Вайден: холостяк Дитвин, которому исполняется пятьдесят лет, приезжает поздравить с днем рождения свою сорокачетырехлетнюю сестру Герлинт. В искусственно созданной ситуации знакомства в доме тети сближаются и их юные родственники, носящие такие же имена. Однако племянник и племянница проявляют свои отнюдь не лучшие черты. Они оспаривают друг у друга право быть лучшим в выращивании роз, становятся дерзкими и непослушными. Эпизод соревновательности в выращивании роз можно интерпретировать в нескольких значениях. Во-первых, разведение роз в саду, очевидно, становится метафорой воспитания и привития любви друг к другу самих героев. Во-вторых, розы могут больно уколоть, несмотря на свою красоту, герои подобно розам, наносят уколы самолюбию друг друга. В-третьих, не случайно замечание дяди, что в скором времени его юные племянники в своем усердии заполнят розами все

пространство между двумя замками. В его словах – надежда на создание новой семьи и упрочение традиций рода. Таким образом, роза как символический элемент повествования, выполняет множество функций, как это было свойственно и для романа «Бабье лето».

Данный текст Штифтера имеет также педагогическую направленность и отражает взгляды самого Штифтера на воспитание человека. Явно авторские воззрения выражает один из героев, Дитвин-старший. Он предполагает, что жизнь человека должна быть проста и естественна, что в каждом возрасте есть свои препятствия, которые необходимо преодолеть. Герои рассказа должны пройти путь преодоления эгоизма и тщеславия. Естественность жизни молодого человека трактуется Штифтером в руссоистском плане. Руссоистский код обозначен и при описании комнаты Герлинт-младшей в пышном и богатом замке ее тети.

*«Потом она сняла все картины и гравюры со стен и оставила стены пустыми. Со своей постели она велела убрать все занавеси и поставить постель так, чтобы она при пробуждении могла смотреть на небо через высокие окна... В жилой комнате и в зале были поставлены растения» [10, с. 707].*

Символика естественной природы проявлена и в сюжетном повороте отказа от выращивания роз героями. Разведению роз в эпилоге положен предел, семантика роз как цветов, требующих тщательного ухода, снимается указанием «границы», предела, до которого они могли бы распространиться. Дитвин и Герлинт-младшие понимают, что пространство между двумя замками, заполненное сплошь розами, противоречило бы естественному состоянию природы и было бы абсурдным.

Событие, которого, однако, невольно ожидает читатель, совершается, заключен брак, и в конце снова повторяется рефрен всего текста «Браки заключаются на небесах». Однако следует подчеркнуть, что значение этой пословицы в рамках текста уточняется и конкретизируется. Повторяя это изречение, старшее поколение все делает для того, чтобы помочь небесам в этом деянии. Отсюда вытекает конкретизация данной пословицы другой: «Помоги Богу сам, чтобы он помог тебе». Штифтер обозначает, таким образом, характерную бюргерскую позицию, выражающуюся не в ожидании свершения воли

небес, а в активности самих людей, способствующих своему счастью. И в этом он проявляется также как типичный автор бидермейера. «Невиданное событие», стоящее, как правило, в центре новеллистического повествования, в произведениях Штифтера снимает свою остроту, становится частью обыденной и семейной тематики бидермейера; внешне романтический конфликт ранних новелл постепенно уступает место изображению душевного переживания.

Проанализировав ряд мотивов произведений К. Шпицвега и А. Штифтера, можно прийти к следующему заключению. Живопись и литература периода бидермейера в немецкоязычных странах имели общие черты. Это было выражено в обращении к сценам из повседневной жизни бюргерства при преобладании непритязательного, естественного, нередко комического авторского взгляда. Отсюда распространённость жанровых сцен, в которых были показаны незамысловатые сюжеты (свидание, чтение, прогулки, ландшафт и пленэр). Вместе с тем, в этих сюжетах можно было увидеть и интерпретировать более глубокое содержание. Они раскрывали простоту и одновременно тайну существования, естественность и уникальность личности. Интермедийные аспекты взаимодействия литературы и живописи можно отметить и в том, что картины Шпицвега имели непременно сюжет, которой при желании можно было бы развернуть и дополнить, а произведения Штифтера, отличающиеся бессюжетностью, содержали живописные мотивы, свойственные пейзажам художника.

### **Библиография:**

1. *Воцелка К.* История Австрии. Культура, общество, политика / Пер. с нем. В.А. Брун-Цеховского и др. М.: Весь мир, 2007. 512 с.
1. *Федотова Е. Д.* Бидермайер. Эпохи. Стили. Направления. М.: Белый город, 2005. 48 с.
2. *Begemann Ch.* Die Welt der Zeichen. Stuttgart; Weimar: Metzler Verl., 1995. 427 S.
3. *Frodl G.* Wiener Malerei der Biedermeierzeit. Rosenheim: Rosenheimer Verlagshaus, 1987. 272 S.



4. *Kalkschmidt E.* Biedermeiers Glück und Ende. München: Callway, 1957. 183 S.
5. *Krüger R.* Biedermeier. Eine Lebenshaltung zwischen 1815 und 1848. Leipzig: Koeler und Amelang, 1976. 283 S.
6. *Muschg W.* Stifters Keplerroman: Zu dem nie geschriebenen Werk Stifters // Gestalten und Figuren, 1968. S. 87-102.
7. *Sterk H.* Biedermeier – Vormärz – eine Epoche der Gegensätze. Wien: hpt-Verl.-Ges., 1988. 124 S.
8. *Stifter A.* Der Condor // Stifter A. Studien / Mit einem Nachwort von F. Krökel sowie Anmerkungen von Pörnbacher. München: Winkler Verl., 1979. S. 13-34.
9. *Stifter A.* Der fromme Spruch // Stifter A. Bunte Steine und Erzählungen. München: Winkler Verl., 1990. S. 669-738.
10. *Stifter A.* Die Mappe meines Urgrossvaters. Schilderungen. Briefe. München: Winkler Verl., 1986. 976 S.
11. *Stifter A.* Karl Spitzweg // Stifter A. Gesammelte Werke in sechs Bänden. Sechster Band. Wiesbaden: Insel-Verl., 1959. S. 449-452.
12. *Tötschinger G.* "Ach, wer da mitreisen könnte...". Reisen im Biedermeier / 3. Auflage. Wien, München: Amalthea, 2001. 240 S.

## МОРГАРТЕН – МАРИНЬЯНО – ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС: ОТ ЧУЖИХ ЗНАМЕН К НЕЙТРАЛИТЕТУ

Н. В. Любимова

Московский государственный лингвистический  
университет

В 1815 году состоялся Венский конгресс, который стал важной вехой в развитии многих европейских стран. Швейцарии на Венском конгрессе было уделено особое внимание. Главным итогом для Швейцарии стало международно-правовое признание ее вечного нейтралитета, который до сегодняшнего дня является одним из основных принципов внешней политики страны. Несмотря на стереотипное суждение, Швейцария не всегда была нейтральной. Ее история богата событиями, которые имели далеко не мирный характер. При упоминании нейтралитета часто вспоминают историческое событие, которое в 2015 г. также стало юбилейным – это битва при Мариньяно, которая была проиграна швейцарцами 500 лет назад, осенью 1515 года. Несмотря на тезис о том, что поражение при Мариньяно породило нейтралитет, связь между этими фактами является скорее опосредованной. В статье рассматривается долгий путь Швейцарии к нейтралитету с опорой на современную историческую интерпретацию событий.

**Ключевые слова:** Венский конгресс; международно-правовое признание; нейтралитет; территориальная неприкосновенность; наемничество; конституция.

**Morgarten – Marignano – Vienna Congress: From Foreign Banners to Neutrality**  
N. V. Lyubimova  
Moscow State Linguistic University

In 1815, the Congress of Vienna was held, which became an important milestone in the development of many European countries. Switzerland was given special attention at the Vienna Congress. The main result for Switzerland was the international legal recognition of its eternal neutrality, which until today is one of the main principles of the country's foreign policy. Despite the stereotypical judgment, Switzerland has not always been neutral. Its history is rich in events that were far from peaceful. At the mention of neutrality, they often recall the historical event that in 2015 It also became an anniversary - this is the Battle of Marignano, which was lost by the Swiss 500 years ago, in the autumn of 1515. Despite the thesis that the defeat at Marignano gave rise to neutrality, the connection between these facts is rather indirect. The article examines Switzerland's long path to neutrality based on a modern historical interpretation of events.

**Keywords:** Vienna Congress; international legal recognition; neutrality; territorial inviolability; mercenary activity; constitution.

200 лет назад в Вене на долгие годы был заложен фундамент европейской политики. Для Швейцарии Венский конгресс имел особое значение, так как эта страна – формально бывший союзник Наполеоновской Франции – стала одним из

пунктов повестки дня. Для решения швейцарского вопроса был образован специальный комитет, занимавшийся как мирным урегулированием внутри Швейцарии, так и созданием нейтральной, усиленной в военном отношении буферной зоны между Францией и Австрией. В комитет вошли барон фон Штайн (Россия), Вильгельм фон Гумбольдт (Пруссия), лорд Стюарт (Англия) и барон Вессенберг (Австрия). Советниками комитета стали граф Капо Д'Истрия (Россия) и Стрэтфорд Кэннинг (Англия). Один из посланников, представлявших интересы Швейцарии в Вене, Йоганн фон Монтенах, вспоминая о конгрессе, дал высокую оценку деятельности „швейцарского“ комитета:

*«Man darf wohl sagen, dass die besten Köpfe des Kongresses in diesem Schweizerausschusse vereinigt waren; Stein, Humboldt, Capo d'Istria, Stratford Canning sind Namen, die der Weltgeschichte angehören und auch Wessenberg ragte durch Kenntnisse, Arbeitskraft und Charakter über das Niveau gewöhnlicher Diplomaten hervor»* [10, с. 56].

В итоговых документах конгресса недвусмысленно заявлено, что нейтралитет Швейцарии соответствует интересам *всех* европейских государств. Согласно Декларации по Швейцарскому вопросу [8], в Вене были приняты следующие решения:

- состоялось международно-правовое признание вечного нейтралитета Швейцарии (*die Anerkennung einer immerwährenden Neutralität*);
- была гарантирована ее территориальная неприкосновенность;
- был утвержден территориальный состав Швейцарии и узаконено ее территориальное расширение за счет присоединения трех новых кантонов: Женева, Вале (Валлис) и Невшатель (Нойенбург). Таким образом, после Венского конгресса Швейцария стала государством, состоящим из 22 кантонов, каковым и оставалась до 1979 года, когда по результатам локальных плебисцитов и общешвейцарского референдума от 24 сентября 1978 был образован самостоятельный кантон Юра, отделившийся от кантона Берн.

Роль коллективного гаранта неприкосновенности Швейцарии взяли на себя Россия, Англия, Франция, Австрия,

Пруссия, Испания, Португалия и Швеция. Поскольку нейтралитет Швейцарии, провозглашённый в Вене, не соблюдался во время военных действий после возвращения Наполеона с острова Эльба, окончательное признание швейцарского нейтралитета состоялось на основании Парижского договора [5], который 20 ноября 1815 года подписали политики и дипломаты, представлявшие свои державы в Вене: от Австрии князь Меттерних и барон фон Вессенбург; от Франции герцог Ришелье; от Англии герцог Веллингтон и лорд Кастлей; от Пруссии князь фон Гарденберг и барон фон Гумбольдт; от России князь Разумовский и граф Капо Д'Истрия, уполномоченный представитель Александра I по швейцарским вопросам; от Португалии граф Пальмелла и Дон Лобо да Сильвейра.

Для того, чтобы оценить решения Венского конгресса для Швейцарии в исторической перспективе, следует обратить внимание и на более ранние даты, которые в 2015 году также стали юбилейными: так, 15 ноября 1315 года *предположительно* состоялась битва при *Моргартене*, в которой швейцарцы одержали убедительную победу над войсками герцога Леопольда Габсбурга<sup>12</sup>; в 1415 г. швейцарцами был завоеван и присоединен Аргау<sup>13</sup>; и, наконец, в сентябре 1515 г. состоялась

---

<sup>12</sup> Об этой битве известно немного. В июле 2015 г. электронный Исторический Лексикон Швейцарии сообщал: «Über die *Schlacht am Morgarten* ist wenig bekannt. Im Streit um den deutschen Königsthron zwischen Friedrich dem Schönen von Habsburg und Ludwig dem Bayern schlugen die Waldstätte am 15. November 1315 im Morgartenkrieg die Truppen Herzog Leopolds von Habsburg. Als einziges zeitgenössisches Dokument hält die Königsaalear Chronik aus der Nähe von Prag das Ereignis in einem kurzen Eintrag vom Winter 1315/16 fest: Ein „sozusagen unbewaffnetes, bedeutungsloses Volk“ in einem Land, das „Sweicz et Uherach“ (Schwyz und Uri) genannt werde, habe fast 2000 Krieger getötet und der Herzog sei dem Massaker nur knapp entronnen. Die Auswertung von Fundstücken aus dem 14. Jahrhundert, die dieses Jahr <2015. – Н.Л.> am vermuteten Schlachtort ausgegraben wurden (z.B. Waffenteile), bringt möglicherweise neue Erkenntnisse. Im Gedenkjahr 2015 wird die symbolische Bedeutung betont, die das Ereignis in den vergangenen 700 Jahren durch verschiedene Interpretationen erlangt hat. Aegidius Tschudi (1505-1572) deutete die Schlacht erstmals patriotisch, indem er sie zu einem Teil der eidgenössischen Befreiungstradition machte. Seither und insbesondere im 19. sowie 20. Jahrhundert wurde Morgarten zur „ersten Freiheitsschlacht“ der Eidgenossenschaft stilisiert und als Mythos dient sie so vor allem politischen Zwecken“ [9]. См. также [13] и [3, с. 72-78].

<sup>13</sup> Об этом событии см.: HLS (Historisches Lexikon der Schweiz): *Der Aargau wird eidgenössisch* [12].

битва при Мариньяно, в которой швейцарцы потерпели свое первое серьезное поражение.

Швейцарская история представляется непрофессионалам как собрание огромного количества ярких, складных, хорошо запоминающихся легенд, мифов и анекдотов, поэтому им трудно рассуждать об исторических событиях, не впадая в соблазн погружения в мифологический дискурс. Но серьезные историки утверждают, что между реальным значением событий и их традиционной трактовкой вне научного дискурса в ряде случаев зияет пропасть огромного размера.

Именно в год юбилеев, который в Швейцарии стал еще и годом очередных парламентских выборов, на почве интерпретации упомянутых исторических событий развернулась дискуссия между политиками, для которых опора на давно любимившиеся штампы и мифы является одним из способов заручиться поддержкой значительной части избирателей, и историками, которые, стоя на строго научных позициях, безжалостно деконструируют привычные бытовые модели трактовки исторических событий. В этой связи в 2015 году часто упоминалось имя профессора истории Томаса Майссена, автора книги «Швейцарские героические истории и что за ними скрывается» (*Schweizer Heldengeschichten – und was dahintersteckt*), которая стала в Швейцарии бестселлером и которую сам автор рассматривает как руководство к политической дискуссии [3, с. 14].

Одним из важнейших политических инструментов для Швейцарии является принцип нейтралитета. Считается, что, проиграв битву при Мариньяно, швейцарцы стали нейтральными. И хотя доля истины в том, что поражение при Мариньяно породило *нейтралитет*, имеется, взаимосвязь между этими знаковыми понятиями нельзя считать настолько непосредственной и явной.

В битве при Мариньяно, которая состоялась 13 и 14 сентября 1515 года, швейцарцы воевали на стороне герцога Миланского против французского короля Франциска I и его союзников. В ходе битвы швейцарцы потерпели сокрушительное поражение и были вынуждены уступить королю Франции права на влияние в регионе, который уже находился под их контролем. Историки называют в качестве причин поражения целый ряд факторов, например [7]:

- отсутствие у швейцарцев единого главнокомандования и, как следствие, отсутствие общего мнения о том, следует ли вообще вступать в битву с французами. Берн, Фрайбург, Солотурн, а также союзники из Била и Вале приняли мирное предложение Франциска I (условия: мир, военный союз и денежная компенсация) и развернули свои войска;
- отсутствие у швейцарцев строгой военной дисциплины и, как следствие, спровоцированное извне спонтанное решение группы швейцарских воинов о начале битвы во второй половине дня 13 сентября;
- превосходящие силы французов, прежде всего артиллерия (французы имели 100 легких и 75 тяжелых орудий; швейцарцы располагали лишь восемью тяжелыми орудиями);
- отсутствие плана действий следующего дня: в ночь с 13 на 14 сентября голодные, замерзшие, усталые, разрозненные швейцарцы не сумели подготовиться ко второму дню битвы, в то время как французы перегруппировали свою артиллерию и заняли более выгодные позиции;
- промедление союзников (папские войска и испанцы), которые опоздали к битве и не смогли принять участие в военных действиях;
- техническая отсталость швейцарцев на момент битвы: они предпочитали тактику боя «кучей», французы же сделали ставку на артиллерию.

В этой связи при разборе событий в Мариньяно Томас Майссен заметил, что 13 и 14 сентября при Мариньяно была одержана эпохальная победа новой и дорогой военной технологии: подвижная артиллерия французов уничтожила швейцарские пешие порядки, время которых как военного авангарда в Европе подошло к концу<sup>14</sup>.

Несмотря на свою убедительную победу, Франциск I благородно отнесся к швейцарцам. В 1516 году он заключил с

---

<sup>14</sup> «Der 13./14. September in Marignano war nicht zuletzt ein epochaler Sieg der neuen und teuren Kriegstechnologie: Die bewegliche Artillerie der Franzosen zerschoss die eidgenössischen Infanteriegevierte, deren Zeit als militärische Avantgarde in Europa damit zu Ende ging» [3, с. 105-106]

ними «Вечный мир» (*Ewiger Frieden*), а в 1521 – военный союз (*Soldbüdnis*). Оба документа свидетельствуют о повороте швейцарской политики в сторону Франции, что оставалось внешнеполитической константой до Французской революции.

Для того времени имя *Швейцария* является условным, так как страны в привычном сегодняшнем понимании еще не было. Кто же тогда участвовал в многочисленных битвах под именем *швейцарцы* (*Eidgenossen*)? Обратимся к темным страницам истории. Речь идет о военной службе под чужими знаменами за деньги – *Reislaufen* (от средневерхненем. *reis louffen* – идти на войну<sup>15</sup>). В Средние века это понятие не имело осуждающей или иной отрицательной коннотации. Молодые мужчины, которые не могли найти применения своим силам дома, уходили на военную службу на чужбину. Так они кормили свои семьи и даже позволяли себе довольно дорогостоящие привычки. Однако со временем наемничество стало рассматриваться как не слишком законное дело: *Reislauf* практиковался лицами мужского пола относительно бесконтрольно, так как в отличие от более позднего наемничества (*Söldnertum*) не регламентировался никакими официальными межгосударственными договорами или соглашениями (*Kapitulationen*). *Reisläufer* могли наниматься на службу поодиночке или группами (*Freikompanien*), заключив контракт и находясь в подчинении независимого командира, который в свою очередь заключал с принимающей стороной такой же частный договор. Хотя с 1477 года для частных лиц существовали ограничения на службу под чужими знаменами, помешать этому было трудно. По большому счету наемничество было выгодно всем: швейцарцы, которых не могла обеспечить их Родина, кормились и осваивали военное ремесло, например, у французов или испанцев, а Швейцария, в крайнем случае, могла использовать своих уже обученных солдат в собственных интересах. Для армий многих европейских стран Швейцария была неиссякаемым источником наемной силы, поэтому ее оберегали как «священную корову».

---

<sup>15</sup> **Reise**, ahd. *reisa*, mhd. *reise*, nur dt.-ndl. Wort, zu *reisen* 1, bezeichnete urspr. den «Aufbruch». Frühnhd. ist es häufig «Kriegszug»; daher in der Schweiz bis in die neuere Zeit üblich *das Reislaufen* = «Eintreten in fremde Kriegsdienste», nach frühnhd. *in die Reise laufen*; *Reisenote* «Marschweise» <...> Zu *Reise* = «Kriegszug» gehört auch **reisig** «zum Kriege gerüstet», fast ausschließlich auf Berittene bezogen <...> Substantiviert *der Reisige* = «berittener Soldat» [4, с. 476].

Так швейцарцы, хоть и косвенно, оказывали влияние на европейскую политику.

Швейцарские наемники стоили недешево. Известная крылатая фраза *Point d'argent, point de Suisse* (нет денег – нет швейцарцев)<sup>16</sup>, которую иногда приписывают Жану Расину, фокусирует внимание на продажности швейцарцев и на их очевидной жадности: они предпочитали сначала получить деньги, а только затем браться за дело. Правда, есть и обратный смысл этой фразы, которая в большей степени поддерживает стереотип верности обещанию и восходит к швейцарскому обыкновению во что бы то ни стало выполнить задание, если за это было заплачено (ср. [2, с. 92, 99])<sup>17</sup>. В этом состояло отличие швейцарских наемников от их главных конкурентов – немецких ландскнехтов. Некоторые источники утверждают, что швейцарцы получали на 12 % больше денег, так как считались более надежными [2, с. 91]. Так сформировался еще один лестный швейцарский (авто)стереотип – триединство *верности, чести и мужества* как наиболее типичных швейцарских военных добродетелей.

Проблема заключалась еще и в том, что благодаря свободному подходу к выбору цвета знамен, под которыми они отправлялись воевать, швейцарцы довольно часто оказывались на поле боя противниками и были вынуждены убивать и калечить «своих», например, так случилось в войне за Испанское наследство в битве при Мальплакэ в 1709 году<sup>18</sup>, когда швейцарцы потеряли, как и при Мариньяно, около 10 000 убитыми, а дома, уже на уровне общего собрания представителей полноправных кантонов (*Tagsatzung*), вновь разгорелся спор между сторонниками и противниками наемничества.

Против наемничества выступали многие. Известно, например, что в битве при Мариньяно в качестве священника при войсках находился будущий цюрихский реформатор Ульрих Цвингли. Говорят, что картины, увиденные им на поле

---

<sup>16</sup> *Point d'argent, point de Suisse*, franz. Sprichwort: «Kein Kreuzer, kein Schweizer», d. h. kein Geld, keine Ware, schreibt sich aus der Zeit her, wo die Schweizer im Ausland gesuchte Soldtruppen waren [11].

<sup>17</sup> В этой связи уместно вспомнить о трагической гибели швейцарской лейб-гвардии Людовика XVI в Париже в 1792 году, о чем напоминает Люцернский лев.

<sup>18</sup> Упоминание об этой битве см.: [3, с. 107].



боя, настолько впечатлили его, что он стал ярким противником службы под чужими знаменами, а в 1522 году добился полного запрета наемничества в Цюрихе.

Период между Итальянскими войнами и Французской революцией стал Золотым веком для наемного участия в войнах, которое со временем видоизменялось, принимало более организованные формы, под давлением обстоятельств и в ходе развития европейской цивилизации трансформировалось в более привычные сегодня виды современного наемничества и службы по контракту (как, например, Французский иностранный легион, созданный в 1831 году). Цифры, свидетельствующие о масштабах участия швейцарцев в чужих вооруженных конфликтах, впечатляют<sup>19</sup>. Всего с XVI по XIX век в различных войнах приняло участие до 1,5 млн. швейцарских наемников, в том числе:

- в XVI веке – 400 тыс. (Итальянские войны, Турецкие войны, Вюртембергская распря, Французские религиозные войны);
- в XVII веке – 300 тыс. (Тридцатилетняя война, Голландская война и война за Пфальцское наследство);
- в XVIII веке – от 720 до 750 тыс. (войны за Испанское, Польское, Австрийское наследство, Семилетняя война, Французская революция и Наполеоновские войны). И в Русской кампании 1812 года на стороне Наполеона воевало не менее 9 тысяч швейцарцев.

Таким образом, швейцарские воины веками активно участвовали в самых кровавых европейских событиях, при этом Швейцария, как государство, могла оставаться в стороне. Но, как указывает историк Томас Майссен, такое положение дел в те времена еще никто не называл нейтралитетом. В ранних союзных договорах (*Bundesbriefe*) прописывалась обязанность присоединившихся субъектов «*сидеть тихо*». Они не только не могли вмешиваться во внутренние конфликты, но, наоборот, должны были стараться стать посредниками в споре (ср.: [3, с. 108]).

Что же касается внешней политики, то понятие

---

<sup>19</sup> Данные заимствованы из материалов юбилейной выставки *Marignano 1515 – die Schlacht der Giganten*, проходившей с 27.03 по 19.07.2015 в Национальном музее (Цюрих, Швейцария).

*нейтральность* в Средние века в целом трактовалось скорее отрицательно, а так как швейцарцы до 1648 года формально подчинялись кайзеру Священной Римской Империи Германской Нации, их нейтральность по отношению к главному противнику Империи, каковым была Франция, считалась предательством. Со временем в дискурсе о нейтральности возникли религиозные мотивы: нейтральный – это неуютный Богу. Майссен подчеркивает, что нейтральности в вопросах веры быть не могло, так как вопрос о выборе в пользу рая или ада, то есть дьявола или Бога, не мог оставаться нерешенным. Поскольку войны в XVI и XVII веках были, главным образом, религиозными, всегда четко определялось соотношение *или – или*. Даже те, кто, как Швейцария, не принимал участия в войне, не был *нейтральным*<sup>20</sup>.

С XVII века швейцарцы стали использовать понятие *нейтральность* для обозначения принципа государственной политики и вынуждены были в положительном свете рассматривать то, что в их сознании на протяжении долгого времени было негативным<sup>21</sup>. Под давлением событий Тридцатилетней войны швейцарский Тагзатцунг, собравшийся в городке Виль, в 1647 г. принял решение о создании общешвейцарского войска с целью укрепления нейтралитета, а годом позже бургомистр Базеля Йоганн Рудольф Веттштайн – представитель Швейцарии на переговорах по Вестфальскому миру – добился в Мюнстере внешнеполитической независимости страны, т. е. ее выхода из Священной Римской Империи Германской Нации. Так нейтралитет стал для швейцарцев политическим фактом и фактором.

Другие государства также увидели в нейтральной позиции Швейцарии некую *константу* европейского равновесия. Поэтому на Венском конгрессе 1815 года и встал вопрос о признании вечного нейтралитета Швейцарии. Тогда же было озвучено представление о том, что истинный нейтралитет на

---

<sup>20</sup> «Neutralität in Glaubensdingen konnte es nicht geben, denn zwischen Himmel und Hölle, zwischen Gott und Teufel durfte man nicht unentschieden bleiben. Da die Kriege im 16. und 17. Jahrhundert primär Religionskriege waren, es also um Seelenheil ging, war stets ein klares „entweder – oder“ formuliert. Auch wer, wie die Eidgenossen, im Krieg nicht mitmachte, war nicht „neutral“...» [3, с. 109-110]

<sup>21</sup> «Die Schweizer erfanden also um 1700 eine eigene Neutralitätsgeschichte, weil sie etwas positiv deuten mussten, was ihnen lange Zeit allenfalls negativ bewusst gewesen war» [3, с. 112].

все времена (*immerwährende Neutralität*) должен быть вооруженным (*bewaffnete Neutralität*). Конгресс предложил Швейцарии создать дееспособную национальную армию, чтобы впредь не повторилась ситуация, когда при отсутствии координации действий плохо подготовленных войск пришлось уступить хорошо управляемому и пользующемуся современным вооружением противнику. Талейран написал в своих мемуарах:

*«Швейцария, являющаяся центральной страной Европы, с которой граничат три больших государства – Франция, Германия и Италия, – была торжественно и навсегда объявлена нейтральной. Указанное постановление усилило для каждой из этих трех стран способы обороны, ослабив их средства нападения. Такое решение особенно благоприятно для Франции, окруженной крепостями на всех своих прочих границах и лишенной их на границе со Швейцарией. Поэтому нейтралитет этой страны дает ей в том единственном пункте, где она слаба и беззащитна, непреодолимый оплот.*

*Чтобы сохранить Гельветический союз <Швейцарию – Н. Л.> от внутренних разногласий, которые нарушили бы его спокойствие и могли бы поставить под угрозу сохранение его нейтралитета, мы силились примирить требования разных кантонов и разрешить споры, издавна ведшиеся между ними. Союз, находившийся под угрозой столкновения старых прав и требований, возникших из новой организации, созданной при посредничестве Наполеона, был укреплен актом, объединявшим все постановления, наиболее способные примирить различные интересы» [1, с. 285].*

Швейцарская конституция 1848 года трактовала нейтралитет как инструмент, необходимый для сохранения независимости. Парламенту и правительству вменялось следить за соблюдением нейтралитета. В современной версии конституции от 18 апреля 1999 г. имеются две статьи с эксплицитным упоминанием нейтралитета, а именно:

– в разделе об обязанностях и полномочиях Федерального Собрания<sup>22</sup>;

---

<sup>22</sup> Art. 173 *Weitere Aufgaben und Befugnisse*. <sup>1</sup>Die Bundesversammlung hat zudem folgende Aufgaben und Befugnisse: a. Sie trifft Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz [6].

– в разделе об обязанностях и полномочиях правительства<sup>23</sup>.

Швейцарские политики всегда помнят о нейтралитете. В острые или требующие активного вмешательства исторические моменты выясняется, что нет нейтралитета вообще, а есть множество идей, выражающих многогранность этого принципа в терминах: вечный нейтралитет (*immerwährende, ewige Neutralität*) и абсолютный (*absolute Neutralität*), безоговорочный (*unverklauusulierte Neutralität*) и тотальный (*totale Neutralität*), всеобъемлющий (*umfassende Neutralität*), безраздельный (*ungeteilte, unteilbare Neutralität*), неограниченный (*uneingeschränkte Neutralität*) и дифференцированный (*differentielle Neutralität*), военный (*militärische Neutralität*), экономический (*wirtschaftliche Neutralität*), государственно-политический (*staatspolitische Neutralität*) и даже духовный (*geistige Neutralität*). Эти терминологически нагруженные словосочетания явно обладают дискурсообразующими свойствами, тем они и интересны с позиций дискурсивного анализа, но это уже иная «история».

### Библиография:

1. Тарле Е. В. Талейран: Из мемуаров Талейрана. М.: Республика, 1993. 317 с.
2. Kreis G. Solddienste // Kreis G. Schweizer Erinnerungsorte. Aus dem Speicher der Swissness. Zürich: Verlag Neue Zürcher Zeitung, 2010. S. 86-99.
3. Maissen T. Schweizer Heldengeschichten – und was dahintersteckt. Baden: Hier und Jetzt Verlag, 2015. 240 S.
4. Paul H. Deutsches Wörterbuch / 7. Aufl. bearb. v. A. Schirmer. Halle (Saale): Niemeyer Verlag, 1960. 782 S.
5. Anerkennungs- und Gewährleistungsurkunde der immerwährenden Neutralität der Schweiz und der Unverletzbarkeit ihres Gebiets // [Электронный источник] URL: <http://www.verfassungen.de/ch/neutralitaetsurkunde15.htm>.
6. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Stand am 14. Juni 2015) //

---

<sup>23</sup> Art. 185 *Äussere und innere Sicherheit*: <sup>1</sup>Der Bundesrat trifft Massnahmen zur Wahrung der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität der Schweiz [6].

[Электронный источник] URL:  
<https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html>.

7. Die Schlacht um Marignano // Tagesanzeiger.  
 [Электронный источник] URL:  
<http://longform.tagesanzeiger.ch/marignano>.

8. Erklärung des Wiener Congresses vom 20. März 1815 über die Angelegenheiten der Schweiz // [Электронный источник] URL:  
<http://www.verfassungen.de/ch/wienerkongresserklaerung1815.htm>.

9. Historisches Lexikon der Schweiz HLS [Электронный источник] URL: <http://www.hls-dhs-dss.ch/index.php>.

10. *Koller A.* Staatsrat Johann von Montenach als Gesandter der Schweiz am Wiener Kongress // Freiburger Geschichtsblätter. – Jg. 30 (1929). Электронный источник Интернет: <http://dx.doi.org/10.5169/seals-336392>.

11. Meyers Großes Konversations-Lexikon. Band 16. Leipzig, 1908. [Электронный источник] URL:  
<http://www.zeno.org/nid/20007267622>

12. *Sauerländer D.* Der Aargau wird eidgenössisch // Historisches Lexikon der Schweiz. [Электронный источник] URL:  
<http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D7392.php>.

13. *Wiget J.* Die Schlacht am Morgarten und ihre Folgen // Historisches Lexikon der Schweiz. [Электронный источник] URL:  
<http://www.hls-dhs-dss-ch/textes/d/D8726.php>.

## НАПОЛЕОНОВСКАЯ ЭПОХА И ЕЕ ГЕРОИ В ВИКТОРИАНСКОМ СОЗНАНИИ И ЛИТЕРАТУРЕ

О. А. Наумова

Нижегородский государственный лингвистический  
университет им. Н. А. Добролюбова

В статье рассматриваются особенности осмысления исторической миссии великих полководцев наполеоновской эпохи в Англии, характер восприятия образов Наполеона и Веллингтона массовым викторианским сознанием, прослеживается процесс трансформации образа Наполеона в художественном мире Ш. Бронте.

**Ключевые слова:** наполеоновская эпоха, викторианское сознание, Наполеон, Веллингтон, Ш. Бронте, художественный образ, «Ангрианские саги», роман «Городок».

**The Napoleonic Era and Its Heroes in the Victorian Consciousness and Literature**  
O. A. Naumova  
Linguistic University Nizhny Novgorod

The article examines the peculiarities of understanding the historical mission of the great generals of the Napoleonic era in England, the nature of the perception of images of Napoleon and Wellington by the mass Victorian consciousness, traces the process of transformation of the image of Napoleon in the artistic world of Ch. Brontë.

Keywords: Napoleonic era, Victorian consciousness, Napoleon, Wellington, Ch. Brontë, artistic image, *Angrian sagas*, novel *Villette*.

Какой предстает наполеоновская эпоха и ее герои в викторианском сознании? Ее трактовки противоречивы, как противоречиво само английское викторианство.

Раннее викторианство и по сей день оценивается неоднозначно – и как стремительное приближение к вершинам экономического, колониального, политического могущества Великобритании, и как воцарение «невзрачнейшей из эпох», «скучнейшего и прозаичнейшего из всех веков», как назовет свое столетие О. Уайльд. Это противоречие проявлялось порой в неразрешимом конфликте сильной духом, одаренной личности со своим «безгеройным временем».

Отсюда и поиск героя, часто безуспешный, и апология сильной личности в единстве стремления к идеализации и романтизации с одной стороны и дегероизации и дискредитации с другой, и полемика вокруг лекций

Т. Карлейля «Герои, почитание героев и героическое в истории», и спор карлейлевских интуитивистов с утилитаристами [7; 8], и концепции героического и антигероического у Теккерея и Бронте.

Два героя времени служили объектами всеобщего возвеличивания – в прессе, историографии, в массовом сознании эпохи. Наполеон, причем не только во Франции, но и в Англии, и Веллингтон сопоставлялись и противопоставлялись, возвышались и стояли вровень как два равнозначных байронических гиганта: «*struggled like two giants for ascendancy*» [17, с. 840]. И это закономерно – величие Веллингтона должно сравнивать с величием, а не ничтожеством антигероя.

В посленаполеоновской викторианской Англии образ герцога Веллингтона, крупного политика, последовательного тори, дважды премьер-министра, главнокомандующего войсками Британской армии являл архетип национального героя до самой его смерти. В 1852 году Британия провожала в последний путь Железного Герцога, «*великого из великих*» [16]. Похороны его приобрели масштабы государственного события. Немногие в истории Англии были удостоены такой высокой чести – торжественных пышных похорон с королевскими почестями, – адмирал Нельсон, герцог Веллингтон, У. Черчилль:

*«Два раза за два века Англии грозила смертельная опасность. И оба раза она была отражена. И Веллингтон, и Черчилль выиграли свою войну»* [10].

Всенародную скорбь выразил в военно-патриотических стихах «Ода на смерть герцога Веллингтона» (1852) поэт-лауреат А. Теннисон:

*Lead out the pageant: sad and slow,  
As fits an universal woe,  
Let the long long procession go,  
And let the sorrowing crowd about it grow,  
And let the mournful martial music blow;  
The last great Englishman is low*  
[13, с. 294].

А вот свидетельство очевидца из России: в 1852 г. в Англию зашел российский фрегат «Паллада». Так, случайно,

И. А. Гончаров оказался участником траурной процессии – похорон герцога Веллингтона:

*«Но decorum печали был соблюден до мелочей. Даже все лавки были заперты. Лондон запер лавки – сомнения нет: он очень печален. Я видел катафалк, блестящую свиту, войска и необозримую, как океан, толпу народа» [6, с. 34].*

Нынешние биографы и историографы часто сетуют, что границы исторического пиетета нарушаются неумолимо, тем более в новейшее время. Предаётся забвению былая слава, и больше помнятся высокие резиновые «веллингтоновские» сапоги, столица Новой Зеландии Веллингтон и блюдо «мясо по-веллингтонски».

Печальная участь ожидала некоторые памятники национальному герою. Статую Веллингтона в сорок тонн, «конное чудовище», по выражению У. Теккерея, через три года после смерти герцога сняли. Другой памятник Веллингтону называют одним из самых странных в Лондоне: победитель Наполеона, водруженный на средства, собранные английскими дамами, изображён в виде обнажённого Ахиллеса. Статуя герцога в Глазго 1842 г. сделалась историческим курьезом – у Веллингтона украли шляпу, украли и саблю, студенты и по сей день надевают красный дорожный колпак не только на голову герцога, но и на его коня.

Генезис сатирико-дискредитирующей линии следует искать в самой викторианской эпохе. Жестокая внутренняя и внешняя политика Веллингтона подвергалась суровой критике, особенно в 1830-е гг. Одновременно осуществлялось сатирическое окарикатуривание его имиджа. Любили вспоминать нападение черни на народного кумира во время конной прогулки в июне 1832 [11, с. 3], а прозвище «Железный Герцог» объяснялось установлением железных ставен во дворце Эпли Хаус, его лондонском владении (которые, как говорили, были способны выдержать мушкетную пулю), чтобы разъярённая толпа не могла бы разбить стёкла. Такое толкование стало ещё более популярным после карикатур в журнале Панч, опубликованных в 1844-45 гг. Обыгрывались и другие прозвища: «Красавчик», «Сипайский Генерал», «The Beef».

Параллельно гротескному осмеянию традиционно подвергался образ Наполеона. Пример – сатирические



картинки «Веллингтон и прусский фельдмаршал Блюхер запихивают Наполеона в мусорный бак» и т. п. В период пребывания на Эльбе Наполеона изображали танцующим фламенко на цыпочках. Аналогичные примеры находим и в русской сатирической традиции, например, в лубочных картинках: Русский Медведь гонит по Европе Наполеона верхом на свинье со словами: «Русский Геркулес загнал французов в лес», а свинья поддакивает: «Уий, уий, мосиё». «Коварного притеснителя» изображали с пёсией и волчьей головой, либо в виде зайца в треуголке.

В Англии образ Наполеона служил кривым зеркалом Веллингтона, а стереотипы традиционного сопоставления зачастую окрашивались в иронические и ернические тона. Биографы «припоминали» нюансы особого рода: после поражения при Ватерлоо Веллингтон воспылил интересом к прежним дамам сердца великого полководца (отыскивались имена двух актрис), нанял его бывшего повара, коллекционировал сувениры с наполеоновской символикой (сервизы, вазы и пр.) [14]. Защитники образа Великого Герцога парировали: после Ватерлоо благодарные правители Европы не могли сдержать радость по поводу избавления от Наполеона и наперебой одаривали герцога титулами и бесценными дарами, а Веллингтон с огромным уважением относился к корсиканцу и коллекционировал связанные с ним предметы, например, его портреты. Видимо, по этой причине он водрузил выкупленную у Лувра статую Наполеона высотой 3,45 м в облике обнаженного Марса-миротворца, бога войны, работы Кановы у подножия лестницы в Эпсли-Хаусе. Скульптура и по сей день пользуется популярностью у туристов под именем «Голый Наполеон». Кстати, на видном месте в парадной зале владелец дворца разместил портрет русского императора Александра I, в мундире.

Сохранились собрания анекдотических историй о двух великих полководцах, которые рассерженные современники характеризовали как *vitriolic* (едкие, язвительные, саркастические), из разряда пасквильных инсинуаций [14].

Глубокое осмысление исторической миссии деятелей наполеоновской эпохи находим в творчестве У. Теккерея. В свое время В. Скотт в «Жизни Наполеона Бонапарта, Императора французов» (1827) нарисовал один из самых противоречивых портретов Наполеона. У Теккерея наполеоновская тема была

связана с программной дегероизацией войны как «трагикомического абсурда истории» [4, с. 72-75]. Великому полководцу отводилась роль статиста в комедии, где режиссер – судьба. В «Ярмарке тщеславия» Наполеон сравнивался с карточным игроком, делающим последнюю ставку. Такое понимание роли личности в истории было преддверием сокрушительного развенчания гения Наполеона Толстым, коего не знала ни одна другая литература. Вспомним толстовское: «Наполеон – игрушка в руках истории»; «Так называемые великие люди суть ярлыки, дающие наименование событию»; «Царь есть раб истории».

Теккерей направлял орудие антинаполеоновской сатиры против своих, английских самодовольных филистеров и псевдопатриотов различного толка, склонных разыгрывать «маленькие домашние Ватерлоо». И не только Теккерей. Так, в романе «Крэнфорд» (*Cranford*, 1853) Э. Гаскелл наполняет откровения экзальтированной недалекой обывательницы, «крэнфордской амазонки», аллюзиями на Буонапарте:

*«Помню, как я просыпалась по ночам, и мне казалось, что я слышу топот французов, вступающих в Крэнфорд. Многие говорили, что нам следует укрыться в соляных конях – и мясо там прекрасно сохранилось бы, но только, пожалуй, нас мучила бы жажда. А отец произнес множество проповедей; утренние были посвящены Давиду и Голиафу и должны были вдохновить простых людей на то, чтобы в случае нужды они пустили в ход лопаты и кирпичи, а в вечерних доказывалось, что Наполеон (это еще одна из кличек Бони, как мы его называли) – не что иное, как Аполлион и Абадонна» [5, с. 18].*

Особое место занимает наполеоновская тема в творчестве сестер Бронте. Биографический маршрут приближения будущих писательниц к этой теме иллюстрирует изменения в восприятии недавних исторических событий массовым сознанием эпохи. Интерес возник из коробки с игрушечными солдатиками, подарка отца. Большие игры маленьких Бронте с картами сражений повторяли ход кампаний Наполеона. Оловянные герои носили имена Веллингтона и его *alter ego*. Из игр выросли «ангрианские саги» с вымышленными королевствами Ангрия и Гондал и «наполеоновскими сюжетами», где виги изображались как «мелкие пакостники», персонажей посещали видения (например, 18 июня 1815 г., – день битвы при Ватерлоо), а знаменитые полководцы, сплошь

демонические личности и авантюристы, выступали как друзья-враги, фанатично преданные друг другу. В финале саги они шествовали рука об руку навстречу ликующей толпе. Не важно, что в действительности Наполеон и Веллингтон не встречались лично, а Наполеон в своих записках не просто нелицезно, но грубо отзывался о Веллингтоне.

В сагах реальные герои века соседствовали со сказочными джиннами и феями, которые пророчествовали:

*«Восстанет владыка – разоритель Европы и шип в боку Англии. Ужасна будет борьба между сим вождем и вами! Много лет продлится она, а тот, кто одержит верх, стяжает себе неувядаемые лавры. Так же и побежденный; хоть он окончит скорбные дни в изгнании, с гордостью будут соплеменники вспоминать его имя. Слава победителя достигнет всех концов земли. Императоры и цари возвеличат его, Европа восславит своего избавителя, и пусть при жизни глупцы будут ему завидовать, он их превозможет, и по смерти имя его останется в веках! – Тогда все феи и джинны вплели свои голоса в мощный хор» [2, гл. 4].*

Заметим, что эти сказочные пророчества были недалеки от реальности.

К «ангриянским сагам» примыкал по времени создания, но отличался тематически и стилистически «Зелёный карлик (Повесть совершенного времени)» (*The Green Dwarf. A Tale of the Perfect Tense*, 1833), – ранний роман Ш. Бронте, написанный ею в возрасте 17 лет под псевдонимом лорда Чарльза Альберта Флориана Уэлсли, совпадавшим с реальным именем Артура Уэлсли, 1-го герцога Веллингтона. В текст романа включена вставная новелла «Наполеон и призрак» (*Napoleon and the Spectre*) [2, гл. 11], впервые опубликованная в 1919 г. Она часто входит в антологии английских классических коротких рассказов. Новеллу называют предтечей «Рождественской песни в прозе» Ч. Диккенса (*A Christmas Carol*, 1843), выявляют типологические аналогии с традицией готических «рассказов о привидениях» [20].

«Наполеон и призрак» – бурлескный рассказ-шарж о том, как назойливый призрак проник в спальню императора, лишил его сна и насильственно провел в одном нижнем белье по улицам Парижа, дабы открыть глаза вконец замерзшему Буонапарте на совершенные им злодеяния и роковые ошибки.

Призрак – персонаж аллюзивный. Это Жан-Шарль Пишегрю, дивизионный генерал. Наполеон, пребывая на Эльбе, признавал Пишегрю способнейшим из генералов времён республики. Финал бесстрашного Пишегрю был печален – будучи известным заговорщиком, он удавился на собственном галстуке в тюрьме в 1804 г. В новелле Наполеон называет его фамильярно Пише.

В новелле разворачивается ночная фантасмагория:

*«Природное мужество императора превозмогло минутный страх, и он готов уж был ответить, когда загремела безумная потусторонняя музыка, занавес заходил волнами, вздымаясь, будто терзаемый неистовым противоборством воюющих ветров. Тот же час по зачарованному залу разлился невыносимый смрад тления вперемешку с ароматами восточных благовоний».*

Наполеона одолевают «смертные маски» (*ghastly masks representing death's-heads*).

Далее императрица пеняет на то, что не пристало императору разгуливать по Парижу в ночной сорочке и появляться в таком виде в ее придворном салоне:

*«You entered a few minutes since in your nightdress with your eyes fixed and wide open. I suppose from the astonishment you now testify that you were walking in your sleep».*

Наполеону объясняют, что он бродил во сне как сомнамбула. От расстройства император немедленно впал в состояние катаlepsии и долго в нем пребывал.

В обрамляющей новелле Наполеон обрел свой обычный вид, назвал рассказ о призраке злонамеренным анекдотом, а таинственного рассказчика отправил в Бастилию:

*«Все взоры обратились к говорившему так повелительно, и чу! Император собственной персоной, в привычном зеленом сюртуке и лиловых панталонах, стоял, окруженный двумя десятками жандармов, непрерывно нюхавших табак. Общее внимание приковалось к le grand Napoleon, в то время как le pauvre petit conteur был уведен в Бастилию».*

А следующий «день открытия Африканских олимпийских игр занялся ясный и свежий» [19].

Комические метаморфозы, нагромождение временных нелепиц, остранение и гротескное уничижение исторических персон в рассказе Бронте напоминают одновременно готические ужасы и сатирические комиксы в духе журнала «Панч».

Отчего же наивные опусы подростков Бронте, которые ныне мы отнесли бы к жанру фэнтези, вспоминают, изучают и переводят по сей день? Потому что они – не только пролог вхождения в большую литературу, но своеобразное зеркало эпохи. Проникнутые воинственным духом, они косвенно отражают умонастроения позднего георгианского общества в Англии [18]. Посленаполеоновская эпоха выглядела серой, ущербной, общество жаждало событий. Вот как писал Б. Дизраэли в романе «Вивиан Грей» (*Vivian Grey*, 1826):

*«Если бы не всеобщие выборы, нужно бы для разнообразия затеять войну. Мир это такая скука» /*

*«If it wasn't for the general election, we really must have a war for variety's sake. Peace gets quite a bore» [12, с. 520].*

Ш. Бронте волновала проблема места героической личности в негероическом веке. Об этом она размышляла в двух брюссельских эссе «Портрет Пьера Яермита» (1842) и «Об имени Наполеона» (1843) [15]. В эссе интерпретируются и иллюстрируются тезисы лекций о героях и героическом Т. Карлейля, прочитанных им в начале 1840-х гг. и имевших огромный общественный резонанс. Вслед за Карлейлем она признает, что прогресс осуществляют «истинные герои», вожди, подобные Кромвелю и Наполеону. Но страсти волевой героической личности тогда оправданы, когда подчинены высокой цели и служению истории [9]. В героях Карлейля «нравственное», «духовное» и «деятельное» начала должны быть нерасторжимы. И для Бронте это очевидно. Не случайно в романе «Джен Эйр» (*Jane Eyre*, 1847) она развенчивает личностный бонапартизм графа Рочестера и его лозунг:

*«Неслыханное стечение обстоятельств требует неслыханных норм».*

Ее героиня верует в божественное установление и неизблемость нравственных законов в любых обстоятельствах и ведет героя к моральному очищению.

В романе «Шерли» (*Shirley*, 1849) писательница создает иную коллизию – социально-исторические события влияют, подчиняют и изменяют героев. Действие романа разворачивается в 1812 г. Исторический фон предельно насыщен, это война с Наполеоном, континентальная блокада Англии, выступления луддитов. Их стихийная ненависть рождена нищетой. В основе исторического романного конфликта борьба крупных политических и социальных сил. Но «Шерли» уже в силу минимальной исторической дистанции не исторический роман. Он дышит современностью, проникнут чартистскими настроениями. В финале автор рисует подобие утопического преобразования общества – возможность социального примирения угнетенных и хозяев. В романе есть свой бонапартист фабрикант Роберт Мур. Он полуфранцуз, поклонник Наполеона, утилитарист, и из всех национальных свобод ему «нужна только свобода торговли». Однако писательница показывает, что в обстановке экономического кризиса прагматик Мур, наделенный неукротимой энергией, есть воплощение прогресса.

И в английской историографии, и в художественной литературе Наполеон и его деяния провоцировали всплеск интереса к России и русскому. Подтверждение тому находим в романе «Шерли». После восстания рабочих герой романа рассуждает о Наполеоне. Его голос сливается с авторским:

*«И вот мы в самом разгаре лета, в середине июня 1812 года. Этим летом Бонапарт на щите: он идет со своей ратью по русским лесам и полям. С ним французы и поляки, итальянцы и дети Рейна, всего шестьсот тысяч солдат. Он движется на древнюю Москву, но под стенами древней Москвы его ждет суровый русский мужик. Это дикий и непреклонный воин! Он бесстрашно ожидает неотвратимую лавину. Он верит в снежные тучи своей зимы. Безбрежная пустыня, ветры и метели уберегут его; Воздух, Огонь и Вода помогут ему»* [3, с. 62].

Занимала писательницу также коллизия «гений и толпа», «герой и народ». Из своего времени она посылала инвективы предшествующему поколению, сетовала на неблагодарность толпы, легко забывающей своего кумира и, что ещё несправедливее, подвергающей идола осмеянию:

«В тот год лорд Веллингтон возглавил армию в Испании: ради своего спасения испанцы сделали его генералиссимусом. В том же году он взял Бадахос, сражался на полях Виттории, овладел Памплоной, штурмовал Сан-Себастьян и в том же году захватил Саламанку.

Жители Манчестера! Прошу прощения за столь краткий перечень военных действий, но ведь теперь это не имеет значения! Теперь лорд Веллингтон в ваших глазах всего лишь дряхлый старец, и я даже думаю, что некоторые из вас поговаривают, будто он выжил из ума, и попрекают его тем, что он жалок и немощен. Но лучше оглянитесь на себя! Такие, как вы, попирают ногами все, что есть смертного в полубоге. Хороши герои! Что ж, смейтесь сколько угодно, – ваши насмешки никогда не оскорбят его великое старое сердце» [3, с. 145].

Для всего семейства Бронте герцог Веллингтон неизменно оставался кумиром, идолом. Еще в 1829 г. тринадцатилетняя Шарлотта составила сборник коротких рассказов *Anecdotes of the Duke of Wellington*, где возникал образ героя без страха и упрека. Железный Герцог магическим взглядом обращал гнусные вопли толпы кокни в Сент-Джеймском парке в восторженные крики «Ура!» и пожелания долгой жизни.

Ш. Бронте на протяжении всей сознательной и творческой жизни относилась с пиететом к личности герцога Веллингтона, к его образу. А восприятие Наполеона как образа эпохи менялось, что ощутимо в последнем завершенном романе писательницы «Городок» (*Villette*, 1853). Главу XXX романа «Городок» принято называть «наполеоновской». В тексте главы дается развернутая многослойная метафора героя, школьного Наполеончика из пансиона в Брюсселе, страдающего комплексом бонапартизма. Но кто же этот герой? Это профессор Поль Эманюэль, «суровый маленький человечек – безжалостный блюститель нравов» в «замаранном чернилами сюртучке; уродливой феске», «с гневной маской умного тигра», «злючка», нелепый экспансивный «диктатор». Кажется, невозможно воспринимать всерьез это «неотесанное, докучливое, несносное», одержимое страстью к бравате, «пропахшее сигарами привидение» [1, гл. 30].

Автор в изобилии использует «военные» сравнения и метафоры:

*«Малейшее неповиновение, пререкания и просто выражение собственного мнения вынуждала его вести истребительную войну с оппонентками внутри женского пансиона»;*

*«он предложил мне мир, быть может, чересчур поспешно: я выстояла бы и дольше»;*

*«он подсовывал мне греческую или латинскую книгу, как тюремщицы Жанны д'Арк соблазняли ее воинскими достижениями».*

Учительницу Люси Сноу называют *«грубой и злой как старый капрал».*

Чем больше рассказчица нагромождает уничижительные характеристики (он *«нестерпимо раздражителен, самоуверен»,* подозрителен, капризен и т. п.), тем чаще находит сходство с Наполеоном Бонапартом:

*«в неистовстве профессор уподоблялся „великому императору“, что разбивал вазы, дабы внушить страх»;*

*«Продолжу мою дерзкую параллель – любовью к власти, стремлением главенствовать мосье Эманюель походил на Бонапарта»; «Бессовестно пренебрегая великодушием, он напоминал великого императора. Мосье Поль мог рассориться сразу с дюжиной ученых женщин, мог известить мелочными уколами и пререканьями любой их кружок, нимало не боясь тем уронить свое достоинство. Он отправил бы в изгнание целых пятьдесят мадам де Сталь, буде они утомили, оскорбили, переспорили или задели бы его».*

Профессор – закоренелый женоненавистник, и не терпит он преимущественно умных женщин:

*«“Умная женщина”, по его мнению, являет некую “*lusus naturae*”, несчастный случай».*

Особенно доставалось англичанкам – вообще, и непокорной, несговорчивой англичанке Люси Сноу в особенности. Поединки Франции и Англии на пространствах классной комнаты представлены в романе в формах комического:

*«Тщетно ожидания поклонения, шипящий василиск просто не мог не ужалить, и наконец он так набросился не только на наших женщин, но и на величайшие наши имена и лучших мужей, так пятнал Британский щит и марал королевский*



*флаг – что меня проняло. С злобным наслаждением он вытащил на свет самые пошлые исторические выдумки континента – ничего более оскорбительного нельзя и придумать».*

Заодно и Шекспир оказался виноват, – «ложный кумир глупых язычников, англичан».

Расправившись с англичанами в принципе, Наполеончик Поль сосредоточился на англичанках:

*«Никто никогда при мне так не честил англичанок, как мосье Поль в то утро: он ничего не пощадил: ни ума, ни поведения, ни манер, ни наружности. Мне особенно запомнилось, как он бранил высокий рост, длинные шеи, худые руки, неряшливость в одежде, педантическое воспитание, нечестивый скептицизм, несносную гордыню, показную добродетель; тут он злоеще заскрежетал зубами, словно хотел сказать что-то совсем ужасное, но не решился. Ох! Он был злобен, язвитель, дик – и, следственно, отвратительно безобразен».*

Терпение героини иссякло, и она издала страшный вопль: «*Да здравствует Англия, ее история и ее герои! Долой Францию, ее выдумки и ее фатов!*» Класс был совершенно сражен.

Дав волю сарказму, повествовательница неожиданно переключает смысловой регистр. Оказывается, герои давно увлечены друг другом, и комическая борьба самолюбий закончится счастливым примирением и «союзом любящих сердец». Отныне профессору Эманюэлю отводится роль «превосходной фигуры» в воспитании героини – в согласии с традиционной жанровой структурой. Для всякого героя воспитательного романа, каковым является «Городок», отыскиваются персонажи-наставники, поводыри по жизни. Автор романа воспроизводит воспитательный шаблон «талантливая Ученица – требовательный Учитель» в традиции гетевской мейстерады. Тайна привлекательности героини заключается в готовности учиться, и ее есть чему учить. Отношения героев – поединок интеллектов и темпераментов. Для мосье Поля скромница Люси – своенравная женщина, «*из тех, кого нужно смирать, наставлять, обуздывать*», да к тому же «*кокетливая, как десять парижанок*» [1, с. 418, 434]. Отношения героев лишены тривиальности, они вырастают из одиночества и «*чувства острейшего духовного голода*» [1, с. 201], умения прощать несовершенства друг друга и несовершенства мира. В итоге состоялось рождение личности, воспитание характера,

оркестровкой которого героиня обязана «главному дирижеру своей жизни» – мосье Полю.

В чудаковатом профессоре повествовательница по-прежнему находит черты сходства с Наполеоном, но рисует живой портрет оригинального человека и блестящего профессионала: «Свирепый и открытый, мрачный и прямой, вспыльчивый и бесстрашный, он царственно завладел трибуной, будто привычной классной кафедрой», «говорил с непринужденностью и пылкой серьезностью» [1, с. 365] о долге перед Родиной. Его рассказы – «глазные капли для внутреннего зрения», его поступки – свидетельства чувства чести и набожности. Оказывается, он кумир радикально настроенной молодежи, его речи воспаляют, ведут к высоким целям. Он проповедует презрение к тирании, отвергает ласки богачей, оберегает свою независимость:

*«Кто б мог подумать, что на плоской жирной почве Лабаскура <Бельгии> произрастают политические взгляды и национальные чувства, с такой силой убеждать преподносимые нам сейчас? <...> в словах этого маленького господина была не только страсть, но и истина; при всей горячности он был точен и строг; он нападал на утопические воззрения; он с презрением отвергал нелепые мечты, <...> смотрел в лицо тиранству. Не думаю, чтобы все его слушатели могли разделить его чистый пламень; но иные загорелись, когда он ярко обрисовал им будущую их деятельность, указал их долг перед родиной и Европой. Когда он кончил, его наградили долгими, громкими, звонкими рукоплесканьями; при всей свирепости он был любимый их профессор».*

Трансформация романских образов обусловлена спецификой повествовательного голоса «ненадежной повествовательницы» (*unreliable narrator*). Она редко прибегает к ранним законченным характеристикам, надевает маску холодности, самоустранения и самоотчуждения как средства избежать сентиментальности, попыток разжалобить читателя. Поэтому сюжетная механика включает недоговоренности, тайны, сюжетные запаздывания. Ироническое освещение героя, подтрунивание и самоирония повествователя становятся существенно важной, осознанной чертой поэтики романа воспитания, но не ставят под сомнение идейно-ценностные воспитательные установки. Сюжетные планы романа – современно-бытовой, архетипический (философия

ученичества), психологический, – пронизаны историческими аллюзиями. В последнем романе писательницы наполеоновская тема, ее развенчание и утверждение парадоксальным образом смыкаются и включают частные судьбы героев в историческое время, в большую историю, «рассказанную домашним образом».

Литературное творчество Бронте явилось своеобразной реакцией на изменения духовного содержания всей викторианской эпохи и формировало эту эпоху. Современники прислушивались к голосу «*маленькой феи из Хауорта*». У. Теккерей назвал Ш. Бронте «суровой маленькой Жанной д'Арк, идущей на нас, чтобы упрекнуть за нашу легкую жизнь и легкую мораль».

В 2015 году на европейских выставках, приуроченных к 200-летию битвы при Ватерлоо и в преддверии 200-летия со дня рождения Ш. Бронте выставляются раритеты, связанные с исторической эпохой: фрагмент гроба Наполеона, добытый Ш. Бронте в Брюсселе, письмо Герцога Веллингтона отцу семейства Патрику Бронте, записки Шарлотты об игрушечных солдатиках, с которых начиналась наполеоновская тема в ее творчестве.

### Библиография:

1. *Бронте Ш.* Городок / Пер. с англ. Л. Орел. М.: Худ. лит., 1983. 559 с.
2. *Бронте Ш.* Секрет. Сборник / Пер. с англ.: Е. Доброхотовой-Майковой, М. Клеветенко, М. Лахути. М.: Астрель, 2012. 411 с.
3. *Бронте Ш.* Шерли. СПб, Харьков: МиМ, Фолио, 1994. 591 с.
4. *Вахрушев В. С.* Творчество Теккерей. Саратов, 1984. 150 с.
5. *Гаскелл Э.* Крэнфорд. М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2013. 288 с.
6. *Гончаров И. А.* Фрегат «Паллада». Собр. соч.: В 8 т. М.: ГИХЛ, 1952. Т. 2. 328 с.
7. *Карлейль Т.* Герои, почитание героев и героическое в истории. СПб: Изд. В.И. Яковенко, 1908. 203 с.

8. Саймонс Дж. Карлейль / Пер. с англ. и коммент. Е. Сквайре. Предисл. С. Бэлзы. М.: Молодая гвардия, 1981. 258 с.
9. Соколова Н. И. Романы Шарлотты Бронте. Концепция личности // Проблемы метода и жанра в зарубежной литературе. М., 1988. С. 86-95.
10. Похороны Герцога Веллингтона // [Электронный ресурс] URL: [www.liveintenet.ru/community/the\\_victorian\\_era/post70587235](http://www.liveintenet.ru/community/the_victorian_era/post70587235)
11. Attack on the Duke of Wellington // The Morning Chronicle, 19 June 1832.
12. Glen H. (Ed.). Tales of Angria. L.: Penguin, 2006.
13. Roberts A. (Ed.) Alfred Tennyson: The Major Works. Oxford: Oxford University Press, 2009.
14. Roberts A. Napoleon and Wellington. N.Y.: Simon and Schuster, 2001.
15. The Belgian Essays: A Critical Edition / Ed. by Ms. Sue Lonoff. New Haven, L.: Yale University Press, 1997. 560 p.
16. The Great Funeral Procession of the Duke of Wellington // Illustrated London News, 20 November 1852. P. 591-592.
17. The Military Sketch Book. Blackwood's Edinburgh Magazine, 21 June 1827. P. 840.
18. Alexander Chr. (Ed.). An Edition of the Early Writings of Charlotte Brontë. The Rise of Angria. Oxford, N.Y.: Basil Blackwell. 1991. Vol. II, Part I. P. 237; The Brontës and the Condition of England. Warwick Univ., 29th-31 August 2014 // [Электронный ресурс] URL: [www.bronte.org.uk/whats-on/84/2014-bronte-society-conference/85](http://www.bronte.org.uk/whats-on/84/2014-bronte-society-conference/85).
19. Brontë Ch. Napoleon and the Spectre // [Электронный ресурс] URL: [www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=15676](http://www.mobileread.com/forums/showthread.php?t=15676)
20. Mystery in Charlotte Bronte's «Napoleon and the Spectre» and Charles Dickens' «Signalman» // [Электронный ресурс] URL: [www.123HelpMe.com/view.asp?id=99351](http://www.123HelpMe.com/view.asp?id=99351)

**МОРАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ  
НАПОЛЕОНОВСКОЙ ТЕМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ  
В. А. ЖУКОВСКОГО 1797-1800 гг.**

**А. Г. Садовников**

**Нижегородский государственный лингвистический  
университет им. Н. А. Добролюбова**

На основе исследования самых ранних произведений В. А. Жуковского (1797-1800 гг.) выявляются фундаментальные морально-философские ориентиры художественного осмысления наполеоновской темы в творчестве В. А. Жуковского. Аргументируется идейная преемственность между интерпретациями образа Героя в «пансионском» творчестве поэта, более поздними его произведениями, посвящёнными феномену наполеонизма, и развитием наполеоновской темы в русской литературе XIX века.

**Ключевые слова:** В. А. Жуковский, Наполеон, наполеонизм, христианство, война, мир, герой, мораль, добродетель.

**Moral and Philosophical Foundations of the Napoleonic Theme in the  
Works of V. A. Zhukovsky 1797-1800  
A. G. Sadovnikov  
Linguistic University Nizhny Novgorod**

Based on the study of the earliest works of V. A. Zhukovsky (1797-1800), the fundamental moral and philosophical guidelines for the artistic understanding of the Napoleonic theme in the works of V. A. Zhukovsky are revealed. The ideological continuity between the interpretations of the Hero's image in the poet's «boarding house» work, his later works devoted to the phenomenon of Napoleonism, and the development of the Napoleonic theme in the Russian literature of the XIX century is argued.

**Keywords:** V. A. Zhukovsky, Napoleon, Napoleonism, Christianity, war, peace, hero, morality, virtue.

В совместной монографии Ф. З. Кануновой и И. А. Айзиковой «Нравственно-эстетические искания русского романтизма и религия (1820-1840-е годы)» говорится:

*«Весьма симптоматично, что наполеоновская тема проходит через все творчество Жуковского. И в этом отношении первый русский романтик был „началом всех начал“. Вслед за Жуковским (и рядом с ним) к образу Наполеона и наполеонизму как историко-культурному и нравственно-философскому явлению обращались все видные русские романтики, поэты-декабристы, „дети 12 года“, Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Достоевский, А. Толстой и др.» [3, с. 102].*

Отношение В. А. Жуковского как первооткрывателя наполеоновской темы к Наполеону, нашедшее воплощение в обширном корпусе художественных текстов – от «Песни барда над гробом славян-победителей» (1806) до «Ночного смотра» (1836) и «Агасфера» (1851), – является объектом постоянного внимания исследователей [прим. 1]. Взгляды В. А. Жуковского на личность Наполеона, на его роль в истории России и мира, на сущность феномена наполеонизма с течением времени менялись, но, в целом, и французскую революцию, и наполеонизм, ею порождённый, поэт воспринимал как явления антигуманные (воплощающие в себе идею зла, угнетающие свободу воли, подрывающие нравственные основы) и глубоко антихристианские [3, с. 99-117]. Эти убеждения В. А. Жуковского наиболее активно утверждались после 1806 года, в период наполеоновских войн и первые послевоенные годы. Именно в это время были написаны «Песнь барда над гробом славян-победителей» (1806), «На смерть фельдмаршала графа Каменского» (1809), «Певец во стане русских воинов» (октябрь 1812), «Вождю победителей» (ноябрь 1812), «На первое отречение от престола Бонапарте» (1816). Здесь Наполеон характеризуется как враг России, «хищный враг», «кровавый тиран», «самовластный злодей», обуреваемый безумной гордыней. Категоризм поэта естественно питается патриотическими настроениями того времени, но в произведениях Жуковского наличествует и возвышающийся над сиюминутностью историософский, антропологический и нравственно-философский план.

Осуждение наполеонизма как нравственно-философского явления имело для Жуковского первостепенное значение и осталось важным на протяжении всего творческого пути поэта. Истоки этой тенденции просматриваются в произведениях Жуковского «донаполеоновского» времени, относящихся к периоду учёбы в Московском университетском благородном пансионе (1797-1800). Обрести духовное, нравственное и эстетическое самоопределение, «Сделать план будущей жизни. Привести в порядок свою моральную систему...», конкретизировать «Моральную систему в отношении к Богу; ближнему; к самому себе» [1, с. 36, 42], было тогда важнейшей задачей Жуковского. Примечательно, что в первую очередь поэт обращается к исключительно перспективным для будущей разработки наполеоновской темы темам Войны, Мира и образу Героя.

В 1798 году за подписью «В. Жуковский» было опубликовано ученическое эссе «Мир и война» [прим. 2], представляющее собой ученическое сочинение на заданную тему. По сути, это произведение пацифистское. Композиционно оно строится на резком контрасте картин войны и мира. Обе композиционные части заканчиваются пафосным обращением героя к миру:

*«Поспеши, благодетельный мир, поспеши утушить вражду между людьми, осени крылом твоим ратующих братьев и излей бальзамический сок твой в сердца, возженные пламенем войны»* [2, Т.VIII, с. 25] и

*«Продлился, вожденный мир, продлился между людей; под тихим покровом твоим блаженство их не поколеблется, и они в тишине будут наслаждаться благами жизни и дарами своего Творца»* [2, Т.VIII, с. 26].

В связи с образом мира автором актуализируется символика «осеняющих крыл» и «тихого покрова». В ранней прозе Жуковского сень, покров, наряду с образами сферы, шатра, купола, свода, крова, шара, неба [прим. 3], символизируют гармонию и мир как высший дар Творца и воплощают стремление поэта к осознанию единой узловой связи бытия. В итоге в морально-философском аспекте Мир становится идеальным воплощением добра, а война и мир противопоставляются автором как зло и добро.

Данный морально-философский контекст распространяется и на интерпретацию образа Героя в «пансионских» сочинениях Жуковского «Истинный герой» (1799), «Герой» (1800) и автореминисцентному по отношению к «герою» стихотворения «Добродетель» («От Света сватов луч излился...» (1798)).

В «Истинном герое» декларируется отказ от возвеличивания людей, стяжавших славу жестокостью и злодейством. Над гробницей с надписью «победителю» лирический герой-повествователь восклицает:

*«Кто сей победитель? Конечно, убийца тысяч? И убийц называют победителями, сооружают им памятники для того, чтоб потомство прославляло имена их! Нет! Пускай прославляет их безумец...»* [2, Т.VIII, с. 42].

Устремления подобного рода «героев» характеризуется как прелюбодеянное отступничество от Бога и природы во имя призрака славы, а их путь как путь смерти:

*«Герои! Куда стремитесь вы с обнаженными мечами? За чем бежите? За славою? За призраком, которого вы не достигнете? Оглянитесь: следы ваши обгажены кровью; тела убиенных покрывают путь ваш; злоба бежит с вами, потрясая пламенником своим; природа унывает вокруг вас, и бедствия льются от руки вашей» [2, Т. VIII, с. 42].*

В духе идеологии сентиментализма и религиозно-философских исканий русского масонства Жуковский провозглашает идеалы чувствительного сердца и добродетели:

*«<...> тот, кто имеет сердце, кто любит добродетель, тот с ужасом отвратит взор от гордого обелиска, вспомнив, сколько жертв пало прежде, нежели он воздвигнут <...>»;*

*«Слеза благодарности на могилу – вот венец славы! Благословения несчастливца – вот песнь торжественная! Друг человечества – вот истинный герой, которого дела в сердцах, которого слава в вечности!» [2, Т. VIII, с. 42].*

Следуя за идеями Сен-Мартена (трактат «О заблуждениях и истине...») и И. В. Лопухина (трактат «Некоторые черты внутренней церкви»), поэт развивает концепцию добродетельной личности входящей в себя, познающей и ищущей света, мира и истины (В пансионские годы Жуковский в масонском братстве не состоял и, видимо, по ряду причин, в частности по возрасту [прим. 4], состоять не мог [прим. 5]). Однако именно под влиянием философии, заложенной в основании масонской прозы, публицистики и поэзии, шло формирование мировосприятия поэта [5, с. 9-49].

В своих ранних сочинениях, идеализируя образ «друга человечества», Жуковский создаёт особого рода религиозно-философский культ героической добродетели. В рамках этого культа поэт с дидактическим пафосом разоблачает миф о героизме и воинской славе Александра Македонского в стихотворении «Герой», противопоставляя ему утопический идеал истинного Героя.

Здесь Александр:

*«<...> тщеславный, буйный,  
Стремился иго наложить*



*И тяжки узы ты вселенной!».*

Его гордость:

*«Пределов <...> не имела;  
Но цель была лишь только дым!».*

Автор упрекает Александра:

*«Алкал ты славы — и в безумстве  
Себя ты богом чтить дерзал»;*

*«Героя званием священным  
Хотел себя украсить ты;  
Ах, что герой, когда лишь кровью  
Его написаны дела?»  
[2, Т. I, с. 41-43].*

По убеждению поэта все побуждения и устремления Александра питаются тщеславием и гордыней и носят исключительно душевный, эгоистический характер. Истинный же герой представляется как личность одухотворённая добродетелью и любовью:

*«Героем тот лишь назовется.  
Кто добродетель красну чтит.  
Кто лишь из должности биемся,  
Не жаждет кровь реками лить <...>»;*

*«Кто сырым нежный покровитель;  
Кто слез поток спешит отерть  
Благодеяния струями;  
Кто ближних любит, как себя <...>»  
[2, Т. I, с. 43-44].*

Этично-религиозно-философские основания представлений о добродетельном Герое были воплощены Жуковским в 1898 году в стихотворениях «Добродетель» («Под звёздным кровом тихой ночи...») и «Добродетель» («От света светов луч излился...»). В этой лирической диалогии в противоположность картине вселенского разрушения всего того, что подвластно разрушению, автором риторически провозглашаются бессмертие «добрых дел»:

*«Тогда останутся нетленны  
Одни лишь добрые дела.  
Ничто не может их разрушить,*

*Ничто не может их затмить»*  
[2, Т. I, с. 27].

В системе ценностей, утверждаемых лирическим героем, «добрые дела» выступают в качестве нравственного абсолюта. Сверхняя их, человек становится на путь правды, преодоления смерти, сближения с Богом и приобщения к жизни вечной:

*«Пред Богом нас они прославят,  
В одежду правды облекут;  
Тогда мы с радостью явимся  
Пред трон всевышнего Творца»*  
[2, Т. I, с. 27].

Одический тон в сочетании с меланхолически-оптимистической доминантой лирического сознания героя мотивирует дидактизм и нравственный категоризм и в последней строфе стихотворения:

*«О сколь священна, Добродетель,  
Должна ты быть для смертных всех!  
Рабы, как и владыки мира,  
Должны тебя благотворить...»*  
[2, Т. I, с. 27].

Основанная на осмыслении и критике всей совокупности ложных жизненных ценностей, финальная нравственно-философская декларация лирического героя подготавливает обобщение по поводу происхождения и сущности добродетели, заключённое во второй части диалогии. Её начало иллюстрирует динамику авторских представлений о «свете», как источнике жизни и высшей нравственной доминанте бытия.

Необходимо отметить изменения аксиологической парадигмы авторского сознания, поскольку, если в «Майском утре» (1797) рождение света представлено в контексте культурных традиций языческой древности (античную религиозность Жуковский понимал не иначе как языческую [прим. 6], то в «Добродетели» (1798) меланхолическое сознание лирического героя изначально трансформирует идею света и просветления в русле христианской идеи:

*«От Света светов луч излился,  
И Добродетель родилась!  
В тьме мир дремавший пробудился,  
Земля весельем облеклась;*

<...>

*От горних светлых стран небес  
Златой, блаженный век спустился,  
Восторг божественный вселился  
Во глубине святых сердец»*  
[2, Т. I, с. 26-27].

Почти цитируя в начальных стихах Никейско-Константинопольский Символ Веры («Бог от Бога, Свет от Света»), Жуковский уподобляет рождение добродетели благодати рождения Иисуса Христа [прим. 7]. И в том и другом случае в качестве источника творения выступает первородный Божественный Свет. В сущности, он и есть Царство Божие, жизнь вечная и чистая энергия Божества, приобщение к которой происходит исключительно как дар божественного милосердия. Антагонистом добродетели в стихотворении выступает «дщерь ада – Злоба», которая «*есть содетель бесчисленных лютейших бед*» (ею порождаются раздоры, войны, убийства, гордыня, неправда, алчность и т. д.)

Причастие свету добродетели есть первейшее достоинство истинного героя. Его, по убеждению поэта, лишены герои подобные Александру Македонскому. Осмысление (хотя и довольно тенденциозное) его исторического и нравственного облика в творчестве Жуковского предвосхищает развитие наполеоновской темы и во многом предопределяет отношение поэта к «героической» личности Наполеона.

### Примечания:

1. В этом отношении особо значимы работы И. А. Айзиковой, А. С. Янушкевича, И. М. Семенко, Р. В. Иезуитовой, Н. А. Гуляева, Е. А. Маймина, Ф. З. Кануновой, Н. Г. Корниенко, О. Б. Лебедевой, А. С. Немзера, И. Ю. Виноцкого, А. Л. Зорина, Э. М. Жиликовой, Н. Б. Реморовой, и др.

2. Впервые: Приятное и полезное препровождение времени. М., 1798. Ч. 20. С. 259-262.

3. В частности см.:

«Уже ночь распустила покров свой...»; «Как величественно это небо, распростёртое над нами шатром...»; «Взгляни на сей лазоревый свод...»; «Мысли при гробнице» [2, Т. VIII, с. 23-24).

«<...> и день на крыльях зефиров взлетел на лазурный свод неба»; «<...> блестящий царь светил, восседая на лучезарной колеснице, сеет животворные лучи на поверхность шара...» «Жизнь и источник» [2, Т. VIII, с. 26-27).

«Молчание, одетое мраком, величественно несётся на землю всё безмолвствует под кровом его ризы...» «Мысли на кладбище» [2, Т. VIII, с. 41].

«<...> луна в кротком сиянии катится по синему своду небес...» «Истинный герой» [2, Т. VIII, с. 42].

4. В соответствии с Конституцией, принятой на VII Ежегодной Ассамблее Света Истины 15-16 июня 6001 года «В Орден допускаются только зрелые мужчины, свободные и добрых нравов, достоинства которых признаны Братьями».

5. По предположению Ю. М. Лотмана, В. А. Жуковский не мог вступить в ложу союза Астреи ранее 1818 года [4, с. 311].

6. Наиболее отчётливо своё отношение к языческой древности В. А. Жуковский выразил в статье «О меланхолии в жизни и в поэзии».

7. «Верую». Никейско-Константинопольский Символ Веры.

*«Верую во единого Бога, Отца Всемогущего,  
<...>  
И во единого Господа Иисуса Христа,  
Сына Божия Единородного,  
От Отца рожденного прежде всех веков,  
Бог от Бога, Свет от Света...»*

### **Библиография:**

1. Дневники В. А. Жуковского. Прим. И.А. Бычкова. СПб., 1903. 536 с.
2. Жуковский В. А. Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. / Под ред. А.С. Янушкевич. М.: Языки русской культуры, 1999-
3. Канунова Ф. З., Айзикова И. А. Нравственно-эстетические искания русского романтизма и религия (1820-1840-е годы). Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001. 304 с.
4. Лотман Ю. М. Жуковский – масон // Ученые записки Тартуского университета. Вып. 98. Тарту, 1960.

5. Янушкевич А. С. В мире Жуковского. Творчество Жуковского как художественная система. М.: Наука, 2006. 542 с.

## РОМАНТИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ОБРАЗА МАЗЕПЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖ. Г. БАЙРОНА И А. С. ПУШКИНА

Ю. В. Стулов

Минский государственный лингвистический университет

В своей поэме «Мазепа» (*Mazeppa*) великий английский поэт Дж. Г. Байрон, основываясь на материалах Вольтера, создает романтический образ украинского гетмана, от которого в дальнейшем будут отталкиваться последующие авторы (В. Гюго, Ю. Словацкий и др.). В знаменитой поэме «Полтава» А. С. Пушкин вступает в полемику со своим предшественником, снимая с фигуры гетмана романтический флер. В статье рассматривается интерпретация образа Мазепы как реального исторического лица и романтического героя.

**Ключевые слова:** наполеоновская эпоха, Дж. Г. Байрон, А. С. Пушкин, русско-украинские отношения, И. С. Мазепа, мифотворчество, романтический герой, романтический злодей, Полтавская битва.

**Romantic Reinterpretation of the Image of Mazepa in the Works of  
G. G. Byron and A. S. Pushkin  
Yu. V. Stulov  
Minsk State Linguistic University**

In his poem *Mazeppa* the great English poet G. G. Byron, based on the materials of Voltaire, creates a romantic image of the Ukrainian hetman, from which subsequent authors (V. Hugo, J. Słowacki, etc.) will continue to build. In the famous poem *Poltava* A. S. Pushkin enters into a polemic with his predecessor, removing the romantic fleur from the figure of the hetman. The article examines the interpretation of the image of Mazepa as a real historical person and a romantic hero.

**Keywords:** Napoleonic era, G. G. Byron, A. S. Pushkin, Russian-Ukrainian relations, I. S. Mazepa, myth-making, romantic hero, romantic villain, Battle of Poltava.

Расцвет романтизма в Англии, пришедшийся на период наполеоновских войн, оказал огромное влияние на развитие европейской и американской литературы, выдвинув в качестве одной из фигур мирового масштаба Джорджа Гордона Байрона, чье становление как мыслителя и политического деятеля отразило бурную атмосферу наполеоновской эпохи. Его притягивала личность императора французов, ставшего создателем современной системы государственного управления с равенством всех перед законом, правами собственности, религиозной терпимостью, светским образованием и т. д. В произведениях, посвященных Наполеону, поэт участвует в создании культа императора, который предстает как герой, сбрасывающий оковы старого мира. Но и сам Байрон для

тогдашней Европы – это герой-бунтарь. По мнению американского ученого Джона Клабба, на протяжении всего столетия *«Наполеон и Байрон вместе доминируют в концепции героя XIX века»* [11].

Создав эстетику лиро-эпической поэмы с ее подчеркнутой субъективностью и эмоциональным накалом, Байрон открыл ее огромные художественные возможности, которые в полной мере были использованы художниками слова в разных странах мира. К тому же академик М. П. Алексеев объясняет его огромную популярность еще и *«той международной политической ролью, какую он играл при жизни и какая сделала из него любимца мыслящего общества разных стран, и мятежного борца, за которым с тревожным вниманием следили дипломаты целой Европы»* [9].

Особое внимание его творчество привлекало в России. Среди крупнейших русских поэтов, испытавших на себе серьезное воздействие поэтического гения Байрона, были В. А. Жуковский, один из первых переводчиков его поэзии на русский язык, А. С. Пушкин, ранний период творчества которого прошел под знаком Байрона, К. Ф. Рылеев, воспевавший его как борца за свободу, М. Ю. Лермонтов, творческие взгляды которого были во многом созвучны байроновским.

Героем романтической литературы является исключительная личность в противостоянии с окружающим миром, бунтующая, непонятая и одинокая, проявляющая себя в исключительных обстоятельствах. Объясним интерес романтиков к фигуре Ивана Мазепы, человека неординарного и противоречивого, сыгравшего важную роль в истории взаимоотношений Украины, России и Запада и ставшего предметом мифотворчества в европейской истории и литературе. Его полная приключений биография, любовные эскапады, попытка сохранить самостоятельность Украины, пользуясь ситуацией, в условиях противостояния крупнейших европейских держав, политические метаморфозы не могли не привлечь внимания романтиков. События, связанные с Мазепой и уничтожением в 1708 г. казачьей столицы Батурина войсками А. Меншикова, описываются уже в очерке Даниэля Дефо *«Непредвзятая история жизни и деятельности Петра Алексовича [прим. 1], нынешнего царя Московии: со дня его рождения до настоящего времени..»* Написанная со слов британского офицера, находившегося на царской

службе» (1723). Правда, там приводится только один эпизод русско-шведской войны. Вольтер более пристально вглядывается в историю Украины и личность Мазепы в «Истории Карла XII», от которой будет отталкиваться Байрон в своей поэме, прокладывая путь для всех позднейших произведений о Мазепе.

Что же было в личности этого человека, который продолжает оставаться в центре многочисленных дискуссий относительно русско-украинских отношений и роли личности в истории? С одной стороны, Иван Степанович Мазепа был успешным царедворцем, начав свою карьеру пажом при дворе польского короля, человеком с европейским образованием, бывавшим в Германии, Италии и Франции, владевшим иностранными языками, ценителем искусств, способствовавшим расцвету украинского барокко, другом блестяще образованного фаворита царевны Софьи князя Голицына, вторым кавалером ордена Андрея Первозванного, любимцем Петра Первого, проводившим в первое десятилетие своего гетманства промосковскую политику. С другой стороны, он известен как человек, который неоднократно предавал своих принципалов, переходя на сторону более сильного политика, что проявилось перед Полтавской битвой, когда ему показалось, что перевес – на стороне шведского короля Карла XII, к которому он не преминул примкнуть. Интерес к его личности усилился после публикации «Записок» (в других источниках – «Воспоминаний») его недруга Яна Пассека, в которых он рассказывает о романтической любви молодого Мазепы к жене шляхтича Фальбовского и последовавшей страшной мести обманутого мужа, когда обнаженного любовника привязали к спине необъезженного коня, который понес его по степи.

Эта сложная личность не могла не привлекать к себе внимания со стороны поэтов, драматургов, композиторов, художников, тем более что романтическая история любви, ревности и мести давала богатую пищу воображению, которое романтиками почиталось высшей формой познания, позволяя проникнуть в глубину человеческих страстей, борьбу добра и зла в душе человека. Однако каждая эпоха расставляет свои акценты, и потому образ Мазепы столь по-разному предстает в произведениях Дж. Г. Байрона, В. Гюго, Ю. Словацкого, Б. Брехта и русских поэтов К. Ф. Рыльева, А. С. Пушкина,



М. Ю. Лермонтова. Ему посвятили свои музыкальные произведения Ф. Лист, П. И. Чайковский; по-романтически яркие картины Э. Делакруа, Т. Жерико, О. Верне, Л. Буланже и других художников в основном сосредоточены на эпизоде мести пана Фальбовского.

В России и Украине изначально оценка политики и личности Мазепы была неоднозначной, причем мнения историков, политологов, литературоведов – нередко взаимоисключающие. В дилогии классика украинской литературы М. Старицкого «Молодость Мазепы» (1898) и «Руина» (1899) это патриот Украины, борец за ее независимость, опирающийся на казачество. В определенной степени его дилогия является реакцией на знаменитый роман Г. Сенкевича «Огнем и мечом», в которой польский писатель описывает восстание казаков под руководством Б. Хмельницкого, отмеченное страшными кровопролитиями и жестокостью. Для Старицкого казачество – это опора в борьбе за самостоятельность, и его Мазепа – герой. Как пишет В. Полищук, *«романы Старицкого имеют выразительную антиимперскую, антианафемскую» трактовку образа великого гетмана»* [5].

Эта линия романтизации и героизации Мазепы характерна для украинских авторов и новейшего времени, в частности, для трилогии Б. Лепкого «Мазепа» (1991). Бурные споры вызвал фильм Юрия Ильенко «Молитва о гетмане Мазепе» (2002), концепция которого привела к серьезным разногласиям в съемочной группе и отказу некоторых кинематографистов принимать участие в работе. В силу его направленности фильм не был рекомендован к показу в России. Для большинства украинцев Мазепа – это легендарный герой, чье изображение присутствует на банкноте в десять гривен. В России он, однако, как правило, выступает символом предательства и измены. Он предстает заговорщиком, интриганом, соблазнителем в романах «„Вечный мир“ Яна Собесского» (1986) В. Пикуля, «Смутная пора» (1983) Н. Задонского, в которых упор делается на его взаимоотношения с польским королем, Петром I и борьбе России, Польши, Турции и Швеции за влияние на украинских землях.

Однако художественное осмысление образа украинского гетмана начинается с байроновской поэмы «Мазепа» (1818,

опубликована в 1819). Именно от него в русской литературе, полемизируя с ним, будут отталкиваться А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов, в то время как К. Ф. Рылеев вслед за Байроном избрет иной ракурс в трактовке образа Мазепы в поэме «Войнаровский», что вызовет резкую критику А. С. Пушкина и других российских литераторов. Английский поэт создает романтический вариант истории молодого Мазепы, который рассказывает ее Карлу XII во время бегства после поражения под Полтавой. Это убежденный седиными семидесятилетний старец, возвращающийся в памяти к самому яркому эпизоду в своей бурной жизни. Ирония, однако, в том, что, закончив свой рассказ, он обнаруживает, что, хотя история его была полна страсти и отчаянного напряжения, слушатель уснул:

*«И если Карл забыл герою  
Сказать спасибо за рассказ,  
Не удивляйтесь: той порою  
Он крепко спал уж целый час!»*  
[1, с. 220]

А. С. Пушкин верно подметит: «...не ищите тут ни Мазепы, ни Карла» [6, с. 182]. В байроновской поэме Карл – это измученный, раненый полководец, испытавший горечь великого поражения, вынудившего его бежать:

*«Не это ль лавровый венец,  
Не это ль гибельной войной  
И кровью купленный покой?»*  
[1, с. 212].

Ему чужды страсти; действия диктуются четко поставленными целями достичь могущества и сделать Швецию великой державой. Мазепа прямо признается, что его романтическая история может показаться королю «пустой бессмыслицей». Внимание сосредоточено на старом гетмане, с горечью понимающем в конце жизни, что все, что осталось у него, – это образ «Терезы молодой», ведь

*«От юности до зрелых лет  
В моих воспоминаниях нет  
Другого равного ему»*  
[1, с. 215].

В Предисловии Байрон указывает на источник, из которого почерпнута легенда, – «Историю Карла XII» Вольтера,

но для него важна не историческая достоверность, а возможность создать образ романтического героя-эпикурейца, которого дикая лошадь полумертвым приносит на украинский берег, где его впоследствии ждет гетманская булава.

Для Байрона историческая составляющая имеет значение только постольку, поскольку Мазепа для него выступает в роли человека, который в трагических, почти безнадежных обстоятельствах сумел преодолеть выпавшие на его долю испытания. Хотя начинается поэма с рассказа старого гетмана, смысл ее – в романтическом приключении молодого пажо польского короля, который, по Байрону, *«не знает меры в добре и зле»*.

Крупнейший знаток творчества Байрона профессор Н. Я. Дьяконова в своем анализе байроновского «Корсара» делает важный вывод:

*«<...> по мысли Байрона, трагическая сложность действительной, не выдуманной жизни проявляется в том, что ее развращающее действие доводит мелкие и покорные души до низости или тупого повиновения, а смелые и сильные души толкает либо на подвиг, либо на злодейство, причем между тем и другим расстояние слишком часто оказывается очень коротким» [2, с. 87].*

Как и положено у романтиков, байроновский Мазепа – это яркий и сильный человек, способный на горячие чувства и готовый, используя любые средства, идти до конца в достижении своей цели, будь то любимая женщина или родная страна. Вспоминая прошлое, он нимало не сожалеет о происшедшем, едва не стоившем ему жизни. Поэт не жалеет красок для создания образа колоритного романтического героя, который, пройдя через невыносимые испытания, все равно мыслями возвращается к прекрасной Терезе, вызвавшей в нем столь сильные чувства. *«Украину я готов отдать»* [1, с. 215], – признается он, чтобы вновь оказаться тем юношей, на долю которого выпала такая любовь. Но судьба выносит его в украинскую степь,

*«Чтобы по этому пути,  
Чрез степь, мне к власти перейти»*  
[1, с. 220].

Нельзя не обратить внимания на период, когда поэт обращается к истории украинского гетмана. В это время он уже

в Италии; события предшествующих лет вызвали серьезные перемены в нем, и личность Мазепы увлекает его, поскольку он видит некоторые переключки в судьбе своего героя и собственной, что проявляется даже в имени возлюбленной будущего гетмана. Меняется и сущность его героев. Г. Киришбаум приводит мнение Г. Бабинского:

*«английский поэт смешивает в образе Мазепы два типа своих героев: „старомодных“ Конрада, Манфреда и Гарольда – с новым, ироническим, воплощенным в Дон Жуане».*

Он говорит о нем *«не как о гибридном, а как о переходном герое»* [4, с. 266]. Не случайно перед читателем два Мазепы – юный любовник, которым ведет страсть к любимой женщине (ведь *«над собой той власти нет!»* [1, с. 215]), и умудренный старик, который все познал в жизни, испытав пламенную любовь, достигнув вершин власти и потеряв все. Взамен, он приобрел ореол героя и мученика. Т. Восс видит символический смысл в финальной коде поэмы, так как *«природа показывает признаки новой жизни в медленно и неохотно наступающей заре»* [10, с. 73].

Десятилетие спустя А. С. Пушкин создает поэму «Полтава» (1828-1829), в которой поэт вступает в полемику и с Байроном, и с Рылеевым, где перед читателем предстает совсем иной Мазепа. Это коварный и жестокий властитель, который не способен на верность и постоянство. Для него предательство во имя сохранения власти является характерной чертой, в то время как у Рылеева и Байрона это стремление отстаивать самостоятельность Украины. Пушкин снимает с него романтический, даже трагедийный флер, начиная поэму с цитаты из Байрона:

*«The power and glory of the war,  
Faithless as their vain votaries, men,  
Had pass'd to the triumphant Czar»*  
[7, с. 88].

Тем самым русский поэт сразу подчеркивает свою позицию по отношению как к поэме своего английского современника, которого он высоко ценил, так и к истории гетмана. Вместо романтической любовной истории Пушкин в центр своей поэмы ставит исторические события Полтавской битвы, противопоставляя фигуры Петра и Мазепы, а трагедия несчастной Марии (Мотри) Кочубей при всей мощи поэтического чувства служит раскрытию демонической природы

Мазепы. Написанная позднее байроновского «Мазепы», поэма отражает движение художественной мысли Пушкина от романтической эстетики к реализму, что выразилось в разнообразии типов человеческих взаимоотношений, определяемых средой и историей, богатстве деталей, мелких подробностей, позволяющих проникнуть в загадки человеческой природы. Профессор В. М. Жирмунский в своем капитальном труде «Байрон и Пушкин» убедительно доказывает, что *«в сюжете, композиции и стиле эта поэма означает выход за пределы традиционного романтического жанра, подготовлявшийся исподволь и здесь, наконец, осуществленный»* [3, с. 200]. Он подчеркивает, что *«романтический сюжет лирической поэмы соединяется у Пушкина с сюжетом героической эпопеи, посвященной не новеллистической теме, а великому событию национальной истории – Полтавской битве и героической личности национального вождя – Петра Великого»* [3, с. 201].

Соответственно меняется тональность произведения. Петр и Мазепа – антиподы. Как и у Байрона, пушкинский Мазепа – старик, но если у Байрона он отмечен едва ли не всеми чертами романтического героя байронического типа, то русский поэт уверен, что в истории останется воспоминание не о его романтическом любовном приключении, а о предательстве политика, который, пытаясь найти поддержку у Карла, просчитался в своих планах и амбициях. Пушкин рисует образ вероломного и подлого человека, для которого нет ничего святого:

*«Не многим, может быть известно,  
 Что дух его неукротим,  
 Что рад и честно, и бесчестно  
 Вредить он недругам своим;  
 <...>  
 Что далеко преступны виды  
 Старик надменный простирал;  
 Что он не ведает святыни,  
 Что он не помнит благостыни,  
 Что он не любит ничего,  
 Что кровь готов он лить как воду,  
 Что презирает он свободу,  
 Что нет отчизны у него»*  
 [7, с. 94-95].

У Пушкина-государственника, верящего в силу нравственного начала, в противовес Байрону возникает не лишенный зловещей силы коварный властолюбец, приносящий в жертву своим амбициям честь и достоинство. За это его справедливо ждет проклятие собственного народа, церковная анафема и клеймо изменника.

Тем не менее, вопрос об отношении Пушкина к Мазепе далеко не прост. Т. Восс, например, утверждает, что «пушкинская „Полтава“ представляет Мазепу с критической русской имперской точки зрения» [10, с. 72]. Гораздо точнее утверждение профессора В. Д. Сквозникова о том, что «идея самоопределения подвластных народов вполне чужда государственно-историческому сознанию поэта, хотя тут же постоянно присутствует сочувствие угнетенным» [8, с. 59]. Нельзя выпускать из вида и время создания поэмы – после подавления восстания декабристов, возвращения Пушкина из ссылки и его знаменитой встречи с Николаем I, что не могло не наложить свой отпечаток на мироощущение поэта. И поэтому в изображении гетмана сталкиваются разнонаправленные линии. С одной стороны, Мазепа-гетман – изменник, и его крах неизбежен, поскольку он делает несправедливый выбор, предавая Петра Великого в исторической битве под Полтавой, определявшей дальнейшую судьбу как России, так и Украины. Для Пушкина нет оправданий предателю, который, пользуясь полной поддержкой Петра, заключил союз с врагом России. Его бесславный финал неизбежен. Он умрет за пределами родной страны, оставшись в истории символом изменника:

*«И тщетно там пришлец унылый  
Искал бы гетманской могилы:  
Забыв Мазепу с давних пор;  
Лишь в торжествующей святыне  
Раз в год анафемой донныне,  
Грозя, гремит о нем собор»*  
[7, с. 125].

Но при этом есть в Мазепе-человеке нечто, что не позволяет однозначно судить о нем как о закоренелом злодее, поскольку душа его страдает:

*«Тоска, тоска его снедает;  
В груди дыханье стеснено»*  
[7, с. 125].

Он полон не только страстей, толкающих его на страшные поступки, которым нет оправдания, но и сомнений, а отношения с Марией отмечены истинным драматизмом, ведь в конце концов плата за любовь к нему оказывается чрезмерной для юного создания.

Гений Пушкина не мог позволить свести противоречивую фигуру украинского гетмана к черно-белому изображению. И отталкиваясь от Байрона, он создает свой образ человека, чья судьба оказалась ключевой во взаимоотношениях Польши, Украины, России и Швеции. А споры о личности Мазепы будут продолжаться бесконечно – в зависимости от политических взглядов, человеческих пристрастий и умения заглянуть «за край».

### **Примечания:**

1. Так в тексте у Д. Дефо – *Alexowitz*. – Полное название книги, следуя принятым в Эпоху Просвещения правилам детализации заголовка, гласит:

*«An Impartial History of the Life and Actions of Peter Alexowitz, the Present Czar of Muscovy: from His Birth down to This Present Time. Giving an Account of His Travels and Transactions in the Several Courts of Europe. Written by a British Officer in the Service of the Czar».*

### **Библиография:**

1. Байрон Дж. Г. Мазепа / Пер. Д. Михаловского // Байрон. Избранные произведения в 1 т. Минск: Худож. лит., 1939. С. 211-220.

2. Дьяконова Н. Я. Лирическая поэзия Байрона. М.: Наука, 1975. 168 с.

3. Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин: Пушкин и западные литературы. Л.: Наука, 1978. 423 с.

4. Кришбаум Г. Брут, Мазепа, Валленрод: о специфике украинской тематики в творчестве К.Ф. Рылеева // Мифология культурного пространства / Под ред. Л. Киселева, Т. Степанищева. *Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia*. Vol. XII. Tartu, 2011. P. 265-277.

5. *Полищук В.* Иван Мазепа: версия Михаила Старицкого // *День*. Киев. 15.02.2008.
6. *Пушкин А. С.* Дневники. Автобиографическая проза. СПб.: Азбука-классика, 2008. 352 с.
7. *Пушкин А. С.* Полтава // *Пушкин А.С. Сочинения в 3 т. Т. 2.* Минск: Маст. літ., 1989. С. 88-128.
8. *Сквозников В. Д.* Пушкин. Историческая мысль поэта. М.: Наследие, 1999. 232 с.
9. *Алексеев М. П.* Байрон и русские писатели // [Электронный ресурс] URL: <http://byron.velchel.ru/?cnt=14&sub=4&page=2>
10. *Voss T.* Wild and Free: Byron's "Mazeppa" // *Byron Journal*. Vol. 25.1. 1997. P. 71-82.
11. *Clubbe J.* Between Emperor and Exile: Byron and Napoleon. 1814-1816 // [Электронный ресурс] URL: [http://www.napoleon-series.org/ins/scholarship97/c\\_byron.html](http://www.napoleon-series.org/ins/scholarship97/c_byron.html)



## ГЕНДЕРНЫЙ ДИСКУРС В ИТАЛЬЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX СТОЛЕТИЯ

А. А. Фомин

Нижегородский государственный лингвистический  
университет им. Н. А. Добролюбова

Статья посвящена положению женщин в итальянском обществе в первой трети XIX века. Рассматривается гендерный дискурс в итальянской культуре и литературе, а также факторы, оказавшие влияние на вектор развития итальянского общества первой половины XIX столетия.

**Ключевые слова:** гендерный дискурс, итальянская культура, женщина в Италии, итальянское общество, XIX век.

**Gender Discourse in Italian Culture of the First Third of the XIX Century**

**A. A. Fomin**

**Linguistic University Nizhny Novgorod**

The article is devoted to the status of women in Italian society in the first third of the XIX century. Gender discourse in Italian culture and literature is considered, as well as factors that influenced the vector of development of Italian society in the first half of the XIX century.

**Keywords:** gender discourse, Italian culture, woman in Italy, Italian society, XIX century.

Для европейской литературы XIX века характерен повышенный интерес к изображению женских образов. Смещение акцентов с влюбленного протагониста-мужчины на находившуюся в тени женщину свидетельствует об актуальности гендерного дискурса в культуре данного периода. Не случайно названия многих произведений носят имена главных героинь: Мадам Бовари у Гюстава Флобера, Джейн Эйр у Шарлотты Бронте, Эмма у Джейн Остин, Анна Каренина у Льва Толстого, Ева у Джованни Верга.

Через описание женских персонажей осуществлялся переход от романтизма к реализму, шла дискуссия о роли женщине в обществе и ее положении внутри семьи. Именно эта эпоха стала во многом определяющей для будущих поколений женщин, ведь как раз в XIX веке зародились и получили свое развитие многочисленные кружки и объединения, боровшиеся за равноправие полов. То есть, начальный этап формирования гендерного дискурса уходит своими корнями в конец XVIII – начало XIX века.

Понятие гендера является одним из ключевых в социологии. По мнению ведущих исследователей, гендер является совокупностью социальных и культурных норм, которым следуют члены общества в зависимости от своего биологического пола [2].

Сегодня все более очевидно, что именно социокультурные нормы, а не биологический пол задают модели поведения, определяют профессии и виды деятельности мужчин и женщин. Принадлежность к тому или иному полу обязывает нас следовать определенным гендерным ролям.

Традиционно статус мужчины и статус женщины в обществе являются самыми фундаментальными из социальных статусов. При этом в большинстве обществ эти статусы считаются врожденными и не подлежат изменению [3]. Половые статусы крайне редко выходят за пределы гендерной структуры, возможна лишь смена статуса, то есть переход в зону другого пола.

Для понимания гендерного дискурса в итальянской культуре необходимо обратиться к истории Европы XVIII – XIX века. Великая Французская Революция стала одним из наиболее значительных событий в отношении гендерной проблематики на Апеннинском полуострове. На тот момент еще не существовало Италии как единого государства, территория современной Италии была представлена множеством раздробленных герцогств, которые в период революционных войн с 1792-1815 гг. стали зоной конфликта между Францией и Австрией. В силу того, что Италия была подвержена влиянию двух полярных сил в лице Франции и Австрии, в разных регионах страны сформировались зачастую противоположные культурные ценности.

В своём трактате «Политика» Аристотель утверждал, что семья есть основа политического устройства, его первичная единица. Кроме собственно семейных отношений, которые преобладают над остальными, в семье могут быть представлены и два других типа отношений – договорные и властные [1].

Договорные отношения представлены процессом сватовства перед образованием новой семьи. Властные же отношения выражены в виде полномочий отца семейства, который как старший в роду навязывает свою волю остальным представителям семьи [4].

Из этого можно сделать вывод, что семья выступает в виде миниатюрной модели общества, воспроизводя основные отношения, представленные в социуме. Поэтому особенно интересно рассматривать семью в контексте исторических изменений в обществе.

Во время французской революции в 1792 году Национальный конвент привнес значительные изменения в гражданское право, в результате чего члены семьи стали обладать почти равными правами и семья преобразовалась в более демократический институт. Данное изменение в гражданском праве является не случайным, ведь семья традиционно является базисным элементом социальной структуры общества.

В 1791 году был официально утвержден гражданский брак в противовес религиозному. Сохранялись документы, подтверждающие, что Национальным конвентом был узаконен и развод, который наряду с гражданским браком считался естественным правом двух людей в гражданском обществе [5]. Уже в 1794 году бракоразводный процесс был значительно упрощен. На тот момент во Франции происходили изменения, предоставляющие женщинам недостижимые ранее права.

Однако изменения, принятые национальным конвентом, оказались нивелированы после принятия в 1804 году Кодекса Наполеона. Наполеон желал сделать семью оплотом общества и авторитарным образованием. Для этого было необходимо поднять авторитет отца – главы семейства. Это решение Наполеона в очередной раз позволяет убедиться, что семья выступает в виде миниатюрной модели общества, воспроизводя основные отношения, представленные в социуме.

Очевидно, что некоторые статьи Кодекса Наполеона значительно повлияли и на положение итальянских женщин. Хотелось бы остановиться на нескольких примечательных статьях кодекса.

- Например, статья 213 провозглашала главенство мужа. Замужняя женщина не имела права свободного передвижения (статья 213) [9].
- Муж мог требовать развода по причине прелюбодеяния жены (статья 229), в то время как жена могла требовать развода по причине прелюбодеяния мужа,

только если он «держал свою сожительницу в общем доме» (статья 230) [9].

– Родительская власть, по существу, означала власть отца; она переходила к матери только после прекращения брака или в тяжёлых случаях злоупотребления отцом своей властью. Дети были обязаны оказывать родителям почтение и уважение (статья 371) [9].

– Муж является хозяином общего имущества, которым он вправе управлять и распорядиться без согласия жены (статья 1421), в то время как жена не вправе распорядиться общим имуществом без согласия мужа (статья 1426) [9].

Соответственно, регионы современной Италии, находившиеся под влиянием Франции, приняли законы Кодекса Наполеона. Однако, были и регионы, как, например, Ломбардо-Венето, который в 1816 году принял Австрийский Гражданский кодекс.

Составление кодекса было инициировано Марией-Терезией. Согласно Австрийскому гражданскому кодексу, власть в семье сохранялась в руках отца, однако при этом женщины обладали большими правами, чем предусматривал Кодекс Наполеона. Муж занимался ведением хозяйства и содержанием семьи, жена же могла сама управлять своим имуществом, быть истцом и ответчиком в суде, и могла заключать договора без разрешения мужа [6].

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что отличия в правовой базе способствовали развитию гендерного равенства в одних регионах и укоренению традиционных патриархальных отношений в других. В связи с этим, и на сегодняшний день существуют значительные различия между положением женщин в южных и северных регионах Италии. Это, безусловно, оказывало влияние на культуру, быт и литературную жизнь страны. Хотя женское литературное движение началось гораздо позже, чем в развитых европейских странах, где уже в конце XVIII века женщины писали политические трактаты («Декларация о правах женщин и гражданки», «В защиту прав женщин») и создавали женские кружки. Известно, что в первой половине XIX века существовали объединения суфражисток (Британия), а в 1863 женщины Швеции добились права голоса на выборах [8].

В Италии же первые изменения стали появляться лишь в 1866 году, когда началась разработка единого законодательства, регламентирующего семейные отношения, а также права мужчин и женщин в обществе [7].

Основной причиной столь запоздалого развития гендерных отношений в Италии стало отсутствие централизованного государства на Апеннинском полуострове.

Кроме прочего, влияние католической церкви в Италии оставалось гораздо сильнее, чем в революционной Франции и других европейских государствах. А, как известно, роль женщины в католицизме весьма ограничена. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в начале XIX века итальянские женщины не столь активно и организованно боролись за свои права как представительницы других стран. Однако с развитием государственности в обществе появилась потребность в предоставлении женщинам новых возможностей.

С большим отставанием в итальянской литературе стали появляться яркие и интересные примеры поиска национальной и духовной идентичности. Проблема женского выбора описана в творчестве Джованни Верга. Главная героиня одноименного романа «Ева» проходит моменты инициации, которые были описаны ранними европейскими современниками. Семье и любви танцовщица предпочитает независимость и карьеру, что в итоге привело к несчастью обоих влюбленных. Посвятив свою жизнь искусству, ни один из них не достиг желанного признания и успеха. Спустя годы бывший возлюбленный Евы Энрико предпринял попытку вернуться к танцовщице и в порыве ревности на дуэли убил ее нового любовника. Больной Энрико умирает в одиночестве на родине в Сицилии, Ева же остается одна, так и не обретя ни счастья, ни признания.

Творчество этого писателя демонстрирует, что итальянская культура по-своему конструирует гендерный дискурс. Стоит отметить, что культура Италии более ярко представлена в опере через творчество великих композиторов, знаменитых певиц и представителей театра. Однако к концу XIX века дискуссия, посвященная роли женщины, началась на социальном уровне, в том числе и через творчество итальянских литераторов.

**Библиография:**

1. *Аристотель* Политика. М.: АСТ, 2006. 400 с.
2. *Воронина О. А.* Формирование гендерного подхода в социальных науках // Гендерный калейдоскоп. М., 2002. 520 с.
3. *Дугин А. Г.* Социология воображения (введение в структурную социологию). М.: Академический проект, ТРИКСТА, 2010. 564 с.
4. *Сорокин П. А.* Социальная и культурная динамика. М.: Астрель, 2006. 1176 с.
5. *Захер Я. М.* Французская революция в документах, 1789-1794 // [Электронный источник] URL: <http://istmat.info/node/31671>
6. *Общее гражданское уложение Австрийской Республики: Пер. с нем. / Под ред. Л. Шарингера и Л. Шпехта.* М.: Статут, 2013. 584 с. [Электронный источник] URL: <http://www.estatut.ru/pdf/759.pdf>
7. *Победоносцев К. П.* Курс гражданского права // [Электронный источник] URL: [http://civil.consultant.ru/elib/books/16/page\\_7.html](http://civil.consultant.ru/elib/books/16/page_7.html)
8. *Феминизм или история борьбы женщин за права человека* // [Электронный источник] URL: <http://www.feminisnts.info/2641-феминизм-или-история-борьбы-женщин-за.html>
9. *Французский гражданский кодекс 1804 г. М., 1941.* [Электронный источник] URL: <http://lawlibrary.ru/izdanie2386.html>[http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full\\_time/uf/iogip/studentsbooks/histsources2/igpzio49/](http://pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/uf/iogip/studentsbooks/histsources2/igpzio49/)

## НАПОЛЕОН В МЕМУАРАХ ГРАФА ЛАС-КАЗА

С. М. Фомин

Нижегородский государственный лингвистический  
университет им. Н. А. Добролюбова

Статья посвящена рождению мифа о Наполеоне как национальном герое, ставшем воплощением французского духа. Начало мифологизации личности Наполеона было положено «Мемориалом Святой Елены», изданным в 1823 г. и впервые переведенным на русский язык в 2014 г.

**Ключевые слова:** Венский конгресс, мемуары, миф, агиография, русская кампания Наполеона.

**Napoleon in the Memoirs of Count Las Casas**  
**S. M. Fomin**  
**Linguistic University Nizhny Novgorod**

The article is devoted to the birth of the myth of Napoleon as a national hero who became the embodiment of the French spirit. The beginning of the mythologization of Napoleon's personality was laid by the *Memorial of St. Helena*, published in 1823 and first translated into Russian in 2014.

**Keywords:** Vienna Congress, memoirs, myth, hagiography, Napoleon's Russian campaign.

Венский конгресс 1814-15 годов был призван окончательно зафиксировать падение Наполеона, объявленного воплощением мирового Зла. Светочем сил Добра должен был выступить Александр I, поддержанный старыми и новыми монархиями Западной Европы. Понятно, что противникам Наполеона было трудно договориться, так как у стран-победительниц были собственные интересы, но ненависть к «падшему» позволила объединиться столь разношерстными политическими стихиями. «Вальсирующий» конгресс в итоге дал Европе систему общих договоров, которая просуществовала до середины XIX века. Хотя и были заложены основы для создания современной объединенной Европы, надо признать, что рождения новой социально-политической парадигмы так и не произошло:

*«Абсолютизм государства, сохраненный и модифицированный при Наполеоне, фактически продолжал ту систему управления, которая существовала при Старом порядке, теперь еще более упроченная и усовершенствованная» [10, с. 313].*

Эта ненависть поддерживалась и внутри Франции как со стороны аристократической элиты, лишенной былых привилегий, так и со стороны народа, привыкшего к победам и достатку периода великих побед их соотечественника. Это не могло не отразиться и на состоянии духа молодого поколения из третьего сословия, рассчитывающего повторить судьбу так называемых «великих генералов» Наполеона, сделавших карьеру не благодаря своей родовитости, а своим умом и талантам. Как писал Альфред Мюссе, родилось «пылкое и нервное поколение», представителей которого позднее назовут романтиками:

*«Зачатые в промежутке между двумя битвами, воспитанные в коллежах под бой барабанов, тысячи мальчиков хмуро смотрели друг на друга, пробуя свои хилые мускулы. Время от времени появлялись их отцы; обгаренные кровью, они прижимали детей к расшитой золотом груди, потом опускали их на землю и снова садились на коней. Один только человек жил тогда в Европе полной жизнью. Остальные стремились наполнить свои легкие тем воздухом, которым дышал он. Вот этот-то чистый воздух безоблачного неба, в котором сияло столько славы, где сверкало столько стали, и вдыхали дети» [6, с. 4].*

Мечтавшие о снегах России и египетских пирамидах Наполеона они оказались заложниками идеи меркантилизма, об опасности которого так подробно будут писать писатели классического реализма XIX века.

В политической жизни пост-наполеоновской Европы произошли очевидные сдвиги если не в социально-экономической структуре общества, то в культуре очевидно:

*«<...> возродился интерес к национальным традициям, фольклору, мифотворчеству, появились переводческие школы, развивалась лексикография, салонная музыка, песенная культура. Невероятного взлета достигла культура повседневной жизни» [4, с. 207].*

Не изменилось лишь отношение к личности Наполеона, которые на все годы ссылки стал для официальной Европы персоной нон-грата, хотя его тень незримо витала над западноевропейскими монархиями.

Надо оговориться, что для Франции неофициальной Наполеон все еще оставался источником вдохновения. Так было в период его «Ста дней», когда «с ним связывали надежды на



изгнание Бурбонов и вообще роялистских эмигрантов, приехавших во Францию, как тогда с презрением говорили, в обозе иностранных армий» [1, с. 234]. Так было в периоды первой, второй Реставраций и Июльской монархии. Особенную ненависть народ испытывал к брату казненного короля графу Прованскому, принявшему имя Людовика XVIII:

*«3 мая в Париж прибыл новый король со всем своим семейством. Старый, необыкновенно тучный, ленивый, всем государственным делам предпочитавший хороший стол, легкую беседу, игру в карты, Людовик XVIII не пользовался никаким личным престижем и производил впечатление человека, больше всего на свете дорожившего своими личными удобствами» [2, Т.2, с. 171].*

Наполеону народ готов был простить многие грехи, которые ему приписывали сильные мира сего, настолько высоким оставался его «личный престиж» и настолько выигранно он смотрелся рядом с новой французской элитой.

И все же общий фон после окончательного изгнания Императора для него скорее оказался негативным. Это не удивительно еще и потому, что вся информация о «сидельце» с острова Святой Елены приходила с трехмесячным опозданием на материк и к этому времени уже безнадежно устаревала. Парадоксально, но только в России о Наполеоне много говорили и писали, подготавливая рождение «Войны и мира» Л. Н. Толстого.

Положение кардинально изменилось после выхода в свет уже после смерти Наполеона «Мемориала Святой Елены» графа Лас Каза в 1823 году, ставшего, как писал Г. Гейне, одним из Евангелий о Наполеоне, – мемуаров, оставленных его врачами и соратниками по ссылке на безлюдном острове. Как справедливо писал А. Моруа:

*«<...> одинокая смерть в удушливой атмосфере скалистого острова посреди Атлантического океана произвела сильное впечатление на общество. Она пробудила воспоминания о блеске былых побед и величии Первой империи» [5, с. 140].*

Книга Лас Каза эту симпатию и ностальгию только укрепила, действительно превратившись в «евангелие» молодого поколения, которое в Европе называли пост-романтическим, а в России – «потерянным», породив первый апологетический опус о великом императоре всех французов, представляющий

собой агиографический текст, в котором *«во всей полноте предстает новый тип героя, наделенного титанической силой духа»,* который *«отвергает все земное: привязанность к близким, любовь богатство, славу. Считая свою душу неотъемлемой частью универсума, спасая ее, он совершает подвиг во имя спасения всех»* [9, с. 6].

Автор «Мемориала», вынужденный жить в изгнании вплоть до издания книги, вдруг после ее публикации стал почетным гостем блестящих парижских салонов и умер в достатке, о котором не мог и мечтать на острове Святой Елены. О нем у российского читателя очень мало информации. Известно, что маркиз, а позднее граф Лас Каз Мари-Жозеф-Эманюэль-Август-Дьедонне родился 15 мая 1842 года на юге Франции, сделал неплохую военную карьеру, составил исторический и географический атлас, которым Наполеон регулярно пользовался в ссылке, уехал в эмиграцию в эпоху Великой французской революции. В период Консульства он присоединился к Наполеону, с которым отправился в изгнание на остров Святой Елены в сопровождении сына. Там он стал конфиденнтом низложенного императора, его переводчиком и секретарем. В течение почти двух лет он записывал свои беседы с Наполеоном. Не вполне понятны причины его удаления с острова, но после публикации «Мемориала Святой Елены» в 1823 году ситуация более и менее прояснилась. Основные обвинения пали на англичанина Хадсона Лоу, коменданта острова.

Кстати, именно кратким автобиографическим экскурсом и открывается многостраничный труд Лас Каза, правда, он оставляет за скобками вопросы, которые возникают при знакомстве с «Мемориалом». Главный из них – почему именно Лас Каз отправляется с Наполеоном в ссылку, не будучи ни его родственником, ни близким другом, ни членом его свиты. В «Предисловии» к книге он объясняет это в романтическом ключе:

*«Чрезвычайные обстоятельства способствовали тому, что долгое время я находился рядом с самым замечательным человеком, который когда-либо жил на свете. Восхищение им заставило меня последовать за ним еще тогда, когда мы не были лично знакомы. А когда я близко узнал его, то любовь к нему заставила меня навсегда остаться рядом»* [3, Т.1, с. 5].

Когда произведение вышло в свет, почва для триумфального возвращения Наполеона в качестве спасителя страны во Францию уже была подготовлена: несмотря на очевидные успехи в политической организации общества и экономические реформы Франция так и не обрела должного места на политической карте Европы 20-30 годов XIX века. Все было готово к рождению наполеоновской агиографии – «науки о святом, пострадавшем за веру» а далее в «Мемориале» последует анализ различных аспектов «святости как общекультурного феномена с позиций богословских, психологических и общекультурных». «Словарь иностранных слов» делает, однако, еще одно важное замечание:

«<...> напыщенное, неправдоподобное жизнеописание» [8, с. 15].

Для текста Лас Каза оно оказывается принципиальным, потому что не фактическая сторона событий, а именно их трагический пафос интересует автора, которому известны классические источники о житиях святых и исторических персоналиях, к ним причисленных. Равными Наполеону становятся античные императоры и гении христианского Средневековья: первый из меровингов Хлодвиг I, Карл Великий или Людовик IX Святой.

Основной элемент поэтики агиографического текста, трагический пафос и мучительная кончина ради идеи, в «Мемориале» очевиден. Наполеон предан и уничтожен теми, кого считал единомышленниками, соратниками, равными по крови и статусу. Особенно достается от автора англичанам, которые нарушили договоренности о судьбе Наполеона, готового добровольно уехать в Соединенные Штаты и отречься навсегда от любой политической деятельности. Вместо этого, они, при молчаливом согласии всех участников Венского конгресса, отправили его на безлюдный остров, где долгие годы травили мышьяком. Если в начале книги негодующий Наполеон еще надеется на милость победителей и пишет гневные письма на материк, то уже очень скоро он превращается в настоящего святого, который проводит часы в долгих беседах со своими единомышленниками только для того, чтобы потомки узнали истинные причины его поступков. В беседах и записях, которые приписываются Лас Казом самому императору, проходит бесконечная вереница исторических событий и лиц, которые творили историю великой наполеоновской империи. Каждый из них получает

беспристрастную характеристику низложенного монарха. Наполеон – не только тонкий политик и стратег, он еще и широко образованный человек, беседующий с приближенными об искусстве, науках и философии. Комментарий к книге Лас Каза состоит из более тысячи страниц, включающих информацию самого широкого спектра.

Особая тема его размышлений – Россия, которая представляет для современного российского читателя, получившего возможность познакомиться с книгой Лас Каза только через 200 лет после ее появления, особый смысл и интерес. Его замечания и выводы относительно государства Российского не потеряли своей актуальности, и сегодня и в ней, как в капле воды, отражается специфика агиографических писаний мемуариста.

Именно Русский поход 1812 года оказался для Наполеона роковым. До этого великий француз сумел создать, по мнению Лас Каза, идеальное государство, некий Рай, который должен был послужить образцом для всего остального мира:

*«Слава нашей страны вознеслась до высот, неведомых в истории другого народа; управление всеми делами в стране было беспримерным как в силу проявляемой энергии, так и вследствие достигнутых результатов; одновременный порыв к совершенствованию, который неожиданно охватил все отрасли промышленности, пробудил у всех стремление к честному соперничеству; армия не имела себе равных, вызывая страх за границы и справедливую гордость на родине... Быть французом означало, что человек удостоился великой чести; и, тем не менее, все эти подвиги, все эти достижения и все эти чудеса были результатом деяний одного человека» [3, Т.1, с. 9].*

Россия многократно возникает на страницах книги Лас Каза. Начинает он с Венского конгресса. Это была эпоха, «когда перекраивалась карта Европы и перераспределялись территории ее государств» [3, Т.1, с. 227]. Наполеон вспоминал о том, как менялось к нему отношение его участников, и в частности Александра I после «Ста дней», названных его вторым «пришествием». Не мог он обойти молчанием и русскую кампанию, которую не считал собственным поражением, но неблагоприятным стечением обстоятельств:

*«Спросите самого Александра, и пусть он вспомнит свое мнение, которого он придерживался в то время! Разве я потерял*

*поражение в результате усилия русских? Нет! Мое поражение следует приписать чистой случайности, абсолютной фатальности. Сначала столица сгорела до основания вопреки воле ее жителей, затем вдруг наступила суровая зима, - она наступила с такой необычной внезапностью и была настолько суровой, что ее считали своего рода феноменом. К этим несчастьям следует добавить массу ложных донесений, жалких интриг, предательств, глупостей... Но, делая окончательный вывод и аргументировано аннулировав каждое обвинение, которое делалось в мой адрес, я могу сказать, что это смелое предприятие, эта знаменитая война была с моей стороны совершенно непреднамеренной. Я не хотел сражаться, этого не хотел и Александр, но сложившиеся обстоятельства вынудили нас начать войну, а судьба довершила остальное» [3, Т.2, с. 692].*

Ключевая глава о России практически завершаетopus Лас Каза, подводя итог его многостраничному труду. В беседе от 6 ноября 1816 года о «Преимуществах России и ее политической мощи», написанной перед отъездом Лас Каза с острова святой Елены, Наполеон размышляет о судьбе России, которая может стать политическим центром Европы, объединив страны и континенты. Правда, англичане, по его мнению, будет всячески препятствовать ее связям в Азии (Индии и Китае) и ее влиянию на восточную Европу. Именно «благоприятным» положением России он объяснил собственные неудачи и перспективы истории развития этого государства:

*«Он говорил об огромной людской массе, которой Россия располагала для вторжения в Европу. Эту державу, расположенную под Северным полюсом, поддерживает вечный ледяной бастион, который, в случае необходимости, сделает ее неприступной. Россию можно атаковать только в течение трех-четырех месяцев в году, в то время как в ее распоряжении круглый год, целых двенадцать месяцев, чтобы напасть на нас» [3, Т.2, с. 657].*

Можно было бы и не проводить эту длинную цитату, но она имеет важное значение и дает необходимый смысловой ключ к пониманию русских фобий французского населения, которое и в наше время готово подписаться под всеми словами, сказанными Наполеоном два столетия назад, напряженно ожидая «русского вторжения» в минуты политической нестабильности.

Между тем, Наполеон среди российских феноменов отмечает кроме сурового климата и бесплодной почвы и особенности русского национального характера:

*«Можно добавить преимущество России в виде огромного населения, храброго, закаленного, преданного своему монарху и послушного... Судьба этой части света целиком зависит от компетенции и качеств одного-единственного человека»* [3, Т.2, с. 657].

Если верить записям Лас Каза, то Наполеон действительно предстает не просто феноменальным военным и политиком, но и прорицателем, способным предугадывать будущее, что, понятно, еще более добавляет ему святости в глазах автора мемуаров и его французских почитателей.

Следует признать, что апологетическое произведение графа Лас Каза сумело разрушить устойчивый миф о демонической природе Наполеона Бонапарта, который должны были подкрепить дебаты и документы Венского конгресса. Никто не сомневался в том, что проигрыш Наполеона заключался в природе его характера. Жестокость, несправедливость, зависть и корыстолюбие стали сюжетом многочисленных памфлетов эпохи падения императора и его изгнания из Европы. Лас Каз действует согласно законам жанра и всячески пытается изобличить завистливых оппонентов человека, у которого не было корыстных интересов, который мечтал о всеобщем равенстве, о главенстве духа и буквы Закона, о величии Франции, которая должна предложить миру новый тип справедливого мироустройства.

Лас Каз, вслед за своим кумиром, тысячи раз произносил слово *Gloire*, которое стало девизом эпохи не только после публикации мемуаров, но и с возвращением в страну праха императора, задуманного и осуществленного королем Луи-Филиппом в 1840 году. Примечательно, что известное сегодня всем уникальное надгробие было выполнено из цельного куска карельского порфира. Утверждают, что Николай I, к которому архитектор обратился с просьбой прислать глыбу весом в 200 тонн в Париж, сказал, что для Наполеона России ничего не жаль. И хотя это возвращение не сумело примирить воинов императора с их детьми, протестовавшими против кощунственного шага властей, очень скоро имя Наполеона

станет весомым аргументом в устах тех, кто станет выступать за восстановление былого величия Франции:

*«Для врагов он оставался мятежником и тираном, а для многих европейских народов, угнетаемых старыми, закостеневшими монархиями, он был республиканцем, освободителем, героем простого человека. Таким его видели и многие французы» [7, с. 105].*

Не пройдет и десяти лет после возвращения его праха на родину, как миф о Наполеоне, императоре и человеке, сформируется окончательно, и появится поколение молодых и амбициозных людей, которые, как герой Стендаля, сделают его своим кумиром и будут горевать о том, что не успели вовремя родиться. И для того, чтобы они могли в любую минуту свериться с заветами своего кумира, появится облегченный вариант мемуаров графа, известный как «Максимы и мысли узника Святой Елены. Рукопись, найденная в бумагах Лас Каза», ставший настольной книгой внуков и правнуков Наполеона, пытавшихся претворить в жизнь предписания великого императора о том, как можно добиться успехов и сделать блестящую карьеру, несмотря на внешние преграды.

Мемуары графа Лас Каза представляют собой уникальный исторический документ, каких почти не знала культура. Они породили уникальный культурологический феномен возвращения в обиход агиографической литературы. Благодаря искреннему желанию «обелить» своего собеседника, Лас Казу удастся невозможное: миф о святом Наполеоне рождается не через века и тысячелетия, но еще и при жизни автора «Мемориала Святой Елены», который делал акцент не на промахах своего кумира, но его триумфальных победах и его добродетелях.

### **Библиография:**

1. Арзаканян М. Ц., Ревякин А. В., Уваров П. Ю. История Франции. М.: Дрофа, 2005. 474 с.
2. История Франции: в 3 т. / Под ред. А. З. Манфреда. М.: Наука, 1973. Т. 2. 664 с.
3. Лас Каз граф Мемориал Святой Елены, или Воспоминания об императоре Наполеоне: в 2 кн. / Пер. Л.Н. Зайцевой. М.: Захаров, 2014. 704 с.; 816 с.

4. Мир после наполеоновских войн // Вестник НГЛУ. Вып. 32. Нижний Новгород: НГЛУ, 2015. С. 207-209.
5. *Моруа А.* Шестьдесят лет моей литературной жизни. М.: Прогресс, 1977. 334 с.
6. *Мюссе А. де* Исповедь сына века / Пер. Д. Лившиц и К. Ксаниной. М.: Эксмо-Пресс, 2000. 384 с.
7. *Резерфорд Э.* Париж: роман / Пер. Е. Копосовой. СПб.: Азбука, 2015. 832 с.
8. Словарь иностранных слов. 18 изд., стереотип. М.: Русский язык, 1989. 624 с.
9. *Стадников Г. В.* Хрестоматия по литературе Средневековья. Т. 1. СПб.: Азбука-классика, 2003. 544 с.
10. *Ферро М.* История Франции. М.: Весь мир, 2015. 832 с.



## ***LA RUSSIE EN 1839* ДЕ КЮСТИНА И БОНАПАРТИСТСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕЙНЕ**

**Ф. Ханзен**

**Музей И. В. Гете, г. Дюссельдорф**

Фигура Наполеона неизменно притягивала внимание Г. Гейне на протяжении всего творчества. Наполеон воспринимается Гейне как новый Юлий Цезарь, призванный соединить достоинства республиканского и монархического строя. Также в статье раскрывается влияние книги А. де Кюстина «Россия в 1839 году» на политические взгляды Гейне.

**Ключевые слова:** Наполеон, Гейне, Кюстин, конституционная монархия, цезарианство.

**Astolphe De Custine's *La Russie En 1839* and Heine's Bonapartist Interpretation  
V. Hansen  
Goethe-Museum Dusseldorf**

The figure of Napoleon invariably attracted the attention of H. Heine throughout his work. Napoleon is perceived by Heine as a new Julius Caesar, designed to combine the virtues of the republican and monarchical system. The article also reveals the influence of A. de Custine's book *Russia in 1839* on Heine's political views.

**Keywords:** Napoleon, Heine, Custine, constitutional monarchy, Caesarianism.

### **Astolphe De Custines *La Russie En 1839* und Heines Bonapartistische Interpretation**

In einer Konferenz, die sich der langen Spur der Nachwirkung Napoleons nach seiner finalen Niederlage am 18. Juni 1815 bei Belle Alliance/Waterloo widmet, darf für die deutsche Literatur der Name Heinrich Heines nicht fehlen.

Heine scheint zunächst nur in der Tradition des europäischen Respekts vor dessen Größe zu stehen, die auch dessen Tod 1821 überdauert hat. Das wichtigste poetische Zeugnis für diesen Respekt haben wir in den Versen des italienischen Schriftstellers Alessandro Manzoni, dessen feierliche Form einer 18strophigen Ode Goethe mit *Der fünfte Mai*, dem Todestag, übersetzt hat. Zwar wird dort die Frage nach dem «wahren Ruhm» mit dem Hinweis auf «*die Künft'ge Welt*» beantwortet, Napoleons Gestalt aber in ihrer leidenden Einzigartigkeit unterstrichen:

*«Schönste, unsterblich wohlthätige  
Glaubenskraft, immer triumphierend!»*

*Sprich es aus! Erfreue dich  
Daß stolzer-höheres Wesen  
Sich dem berüchtigten Golgatha  
Wohl niemals niedergebeugt hat»*  
[4, с. 204-208].

An dieser wesentlich unpolitischen Mythisierung hat auch Heine teil, doch wird bei ihm die Verehrung inhaltlich konkret gefaßt, scharf konturiert und zur politischen Theorie entwickelt.

Die wissenschaftliche Debatte darüber wird in den letzten Jahren von Bodo Morawe vorangetrieben, die er mit dem Werk Heines «*Französische Zustände*». Über die Fortschritte des Republikanismus und die anmarschierende Weltliteratur eröffnet [11], 2012 mit *Citoyen Heine. Das Pariser Werk* untermauert hat [10]. Er hält Heine für einen verkappten Republikaner, der unter den Zensurbedingungen nur Masken für sein wahres Ziel gebrauchen konnte. Ich möchte dagegen anhand einer zu Heines Zeit ungedruckten Reaktion auf das Rußland-Buch Custines zeigen, daß Heine in einer cäsaristischen Herrschaftsform zu Gunsten des Volks, einem revolutionär-demokratischen Bonapartismus, sich die Realisation einer solchen Herrschaftsform herbeiwünscht. Ich gehe zur Erläuterung in sechs, bis zur Gegenwart führenden Arbeitsschritten vor.

*Geständnisse* – so lautet der Titel der späten autobiographischen Schrift des 1797 geborenen Heine, und es sind darunter auch provozierende Geständnisse im wörtlichen Sinn zu verstehen. Er berichtet dort von dem Höhepunkt napoleonischer Macht, daß er, als das linke Rheinufer von Frankreich annektiert und Düsseldorf zur de facto von Napoleon regierten Hauptstadt des Großherzogtums Berg geworden ist, familiär in der Erziehung auf einen Dienst unter Napoleon ausgerichtet worden ist [8, T.15, c. 22]. Überraschen kann es daher nicht, daß er ein jugendliches Meisterpoem geschrieben hat, *Die Grenadiere*. Zwei Soldaten der Grande Armée, entlassen aus russischer Kriegsgefangenschaft, kommen in Deutschland an, bekennen sich jedoch weiterhin hochsentimental zu ihrem gefangenen Kaiser, auf dessen mythisierte Wiederkehr sie hoffen. Nach einer national geprägten Phase, die durch den burschenschaftlichen Anti-Judaismus während der Studienzeit beendet wird, entwickelt Heine in der Prosa der *Reisebilder* den zweiten Schritt seines Napoleon-Kults. In der *Nordsee* zählt er Napoleon zu den Großen dieser Erde, die sich über die Jahrtausende hinweg zunicken, macht die Berichterstatter

von dessen letzten Lebensjahren auf der winzigen Insel im Südatlantik zu modernen Evangelisten:

*«Maitland, der sturmkalte, englische Seemann, verzeichnet die Begebenheiten vorurtheilslos und bestimmt, als wären es Naturerscheinungen, die er in sein Loogbook einträgt; Las Cases, ein enthousiastischer Kammerherr, liegt in jeder Zeile, die er schreibt, zu den Füßen des Kaisers, nicht wie ein russischer Slave, sondern wie ein freyer Franzose, dem die Bewunderung einer unerhörten Heldengröße und Ruhmeswürde unwillkührlich die Kniee beugt; O'Meara, der Arzt, obgleich in Irland geboren, dennoch ganz Engländer, als solcher ein ehemaliger Feind des Kaisers, aber jetzt anerkennend die Majestätsrechte des Unglücks, schreibt freymüthig, schmucklos, thatbeständlich, fast im Lapidarstyl; hingegen kein Styl, sondern ein Stilett ist die spitzige, zustoßende Schreibart des französischen Arztes, Antommarchi, eines Italieners, der ganz besonnenetrunken ist von dem Ingrim und der Poesie seines Landes.*

*Beide Völker, Britten und Franzosen, lieferten von jeder Seite zwey Männer, gewöhnlichen Geistes, und unbestochen von der herrschenden Macht, und diese Jury hat den Kaiser gerichtet, und verurtheilet: ewig zu leben, ewig bewundert, ewig bedauert» [8, T.6, c. 158].*

Er drückt mit diesem Mitleiden für den auf St. Helena Gefangenen kein singuläres Gefühl aus, sondern ein in der öffentlichen Meinung Europas weit verbreitetes Gefühl.

Sein besonderes Element, nur von wenigen verständnisvollen Freunden begleitet, ist sein Fortschreiten zu einer politischen Idee, wie sie sich in den Italien-Reisebildern spiegelt. Er macht Napoleon dort zu dem Titanen Prometheus:

*«Vielleicht, nach Jahrtausenden, wird ein spitzfindiger Schulmeister in einer grundgelehrten Dissertation unumstößlich beweisen: daß der Napoleon Bonaparte ganz identisch sei mit jenem andern Titane, der den Göttern das Licht raubte und für dieses Vergehen auf einem einsamen Felsen, mitten im Meere, angeschmiedet wurde, preisgegeben einem Geier, der täglich sein Herz zerfleischte» [8, T.7, c. 67].*

Zugleich setzt eine politische Präzisierung ein. In Briefen lehnt er in der deutschen Zeit gegenüber dem Goethe-Kreis noch ab, als Bonapartist – eine Gruppierung, die in Frankreich schon parteiähnlich auftreten kann – bezeichnet zu werden und grenzt zugleich seinen Enthusiasmus, fiktiv auf dem Boden der siegreichen

Schlacht von Marengo stehend, auf die Zeit bis zum Staatsstreich 1799 ein:

*«Ich bitte dich, lieber Leser, halte mich nicht für eine unbedingten Bonapartisten; meine Huldigung gilt nicht den Handlungen, sondern nur dem Genius des Mannes. Unbedingt liebe ich ihn nur bis zum achtzehnten Brumaire – da verrieth er die Freyheit» [8, T.7, c.68].<sup>24</sup>*

Eine systematische Erweiterung erfährt sein Napoleon-Bild, nachdem er im Mai 1831 ins französische Exil, nach Paris gegangen ist. Für die bedeutendste deutsche Zeitung, die *Allgemeine Zeitung* in Augsburg, berichtet er ein Jahr später über die Popularität Napoleons im Volk und nähert sich dieser breiten Strömung an, macht Napoleon zum Symbol und einer, vor allem vom Militär, greifbaren Standarte:

*«<...> durch Unglück gesühnter und durch Tod gereinigter Repräsentant der Revolution, <...> Sinnbild der siegenden Volksgewalt» [8, T.12, c. 127].*

Im Sommer 1832 besucht er die Normandie-Küste bei Dieppe und beschreibt den allgemeinen Schmerz, der nach dem Tod des Herzogs von Reichstadt, dem Sohn Napoleons, dokumentiert durch Porträts, Kupferstiche der Napoleon-Propaganda, Extrablätter, in jeder Hütte zu spüren ist. In klarer Abgrenzung zu dem geburtsrechtlichen Denken der Legitimisten integriert er seine gerade gewonnene Affinität zu der frühkommunistischen Bewegung der Saint-Simonisten in sein Bild eines ideellen Bonapartismus:

*«Wie Cäsar der bloßen Herrschergewalt seinen Namen gab, so giebt Napoleon seinen Namen einem neuen Cäsarthume, wozu nur derjenige berechtigt ist, der die höchste Fähigkeit und den besten Willen besitzt.*

*In gewisser Hinsicht war Napoleon ein saint-simonistischer Kaiser; wie er selbst vermöge seiner geistigen Superiorität zur Obergewalt befugt war, so beförderte er nur die Herrschaft der Kapazitäten, und erzielte die physische und moralische Wohlfahrt der zahlreichern und ärmern Klassen. Er herrschte weniger zum Besten des dritten Standes, des Mittelstandes, des Justemilieu, als vielmehr zum Besten der Männer, deren Vermögen nur in Herz und Hand besteht; und gar seine Armee war eine Hierarchie, deren Ehrenstufen nur durch*

---

<sup>24</sup> Im Kap. 30 der *Reise von München nach Genua* erklärt er mit Blick auf den Freiheitskampf der Griechen «Kaiser Nikolas» zum «Gonfaloniere der Freyheit» [8, T.6, c. 71]

*Eigenwerth und Fähigkeit erstiegen wurden. Der geringste Bauernsohn konnte dort, eben so gut wie der Junker aus dem ältesten Hause, die höchsten Würden erlangen und Gold und Sterne erwerben» [8, T.12, c. 217]<sup>25</sup>.*

Heine hat damit unter den Franzosen ein klares Profil, erkennt die untergründige Potenz der bonapartistischen Partei und unterscheidet sie von den anderen Strömungen, von den bürgerlichen und adligen Trägern der Julimonarchie, vor allem in dem Parlament, von den Legitimisten, die sich einen Karl oder Heinrich als Prätendenten wünschen, von den Republikanern.

In seinem *Shakespeare*-Buch setzt Heine bei dem Abschnitt zu dessen *Julius Cäsar* einen Akzent, der den Übergang zu einer komplexen Theorie verdeutlicht. Schon im Gymnasium durch aristotelisches Denken geschult, entwickelt er dort ein vielschichtiges, für die Zukunft nicht ungefährliches Denkmuster:

*«Demokratie und Königthum stehen sich nicht feindlich gegenüber, wie man fälschlich in unsern Tagen behauptet hat. Die beste Demokratie wird immer diejenige seyn, wo ein Einzelner als Inkarnation des Volkswillens an der Spitze des Staates steht, wie Gott an der Spitze der Weltregierung; unter jenem, dem inkarnirten Volkswillen wie unter der Majestät Gottes, blüht die sicherste Menschengleichheit, die ächtteste Demokratie» [8, T.10, c. 41]<sup>26</sup>.*

Eine weitere Wende bringt das Jahr 1840. Nicht, weil der Neffe Napoleons, Louis Bonaparte im Sommer in Boulogne-sur-mer mit einem zweiten Staatsstreichversuch Erfolg hätte, sondern durch Entscheidungen des Ministeriums vom 1. März, an dessen Spitze Adolphe Thiers steht. Populistisch motiviert, fordert er England zur Translation der Gebeine Napoleons auf, setzt einen neuen Schub des Napoleon-Kults in Gang, beginnt den Bau des Invalidendoms. Thiers wird zwar abgelöst, als er wegen einer Orientkrise einen europäischen Krieg wagen will und zunächst von einer Quadrubelallianz aus England, Rußland, Österreich und Preußen gestoppt wird, doch es werden tiefe Emotionen durch diese Überführung ausgelöst. Heine weiß daher einen bewegenden Moment im Dezember 1840 einzufangen, der anderen

<sup>25</sup> Als Aufgabe «jener» Revolutionszeiten des 18. Jahrhunderts hat Heine in Gestalt Mirabeaus begriffen, der für einen «konstitutionellen Royalismus» geboren sei [8, T.12, c. 149, 156].

<sup>26</sup> Vgl. [7, c. 69-97]

zeitgenössischen Beobachtern entgeht, aber von der französischen Historiographie anerkannt wird:

*«Die alten Eroberer haben seitdem das Zeitliche gesegnet, und es war eine ganz neue Generazion, die dem Leichenbegängnisse zuschaute, und wenn nicht mit brennendem Zorn, doch gewiß mit der Wehmuth der Pietät sah sie auf diesen goldenen Katafalk, worin gleichsam alle Freuden, Leiden, glorreiche Irrthümer und gebrochene Hoffnungen ihrer Väter, die eigentliche Seele ihrer Väter, eingesargt lag! Da gabs mehr stumme Thränen als lautes Geschrey. Und dann war die ganze Erscheinung so fabelhaft, so mährchenartig, daß man kaum seinen Augen traute, daß man zu träumen glaubte. Denn dieser Napoleon Bonaparte, den man begraben sah, war für das heutige Geschlecht schon längst dahingeschwunden in das Reich der Sage, zu den Schatten Alexanders von Macedonien und Karls des Großen, und jetzt siehe! eines kalten Wintertags erscheint er mitten unter uns Lebenden, auf einem goldenen Siegeswagen, der geisterhaft dahinrollt in den weißen Morgennebeln.*

*Diese Nebel aber zerrannen wunderbar, sobald der Leichenzug in den Champs-Élysées anlangte. Hier brach die Sonne plötzlich aus dem trüben Gewölk und küßte zum letztenmal ihren Liebling, und streute rosige Lichter auf die imperialen Adler, die ihm vorangetragen wurden, und wie mit sanftem Mitleid bestrahlte sie die armen, spärlichen Ueberreste jener Legionen, die einst im Sturmschritt die Welt erobert, und jetzt, mit verschollenen Uniformen, matten Gliedern und veralteten Manieren, hinter dem Leichenwagen als Leidtragende einerschwankten» [8, T.13, c. 109].*

In die Situation eines sich beruhigenden französischen Nationalgefühls stößt Anfang 1843 der Reisebericht des 1790 als Postumus geborenen französischen Schriftstellers Astolphe Marquis de Custine der vom Juli bis zum September 1839 seinen Weg über St. Petersburg und Moskau bis nach Nizhny Novgorod genommen hat [1]. In der üblichen Gattungsform von drei Dutzend Briefen schildert er seine Eindrücke von einem rückständigen Rußland, in dem einzig der seit 1825 regierende Zar Nikolaus I. von Wichtigkeit sei. Als Adliger mit liberalen Einschlügen macht er für diese Situation vor allem das Versagen der russischen Adelschicht verantwortlich, die ihre Rolle als selbständige Mittler zwischen oben und unten nicht begreife. Auch in der Hofgesellschaft in Sankt Petersburg sieht er letztlich nur Abhängige, geht so weit, sie Sklaven zu nennen. Von großer Bedeutung sind ihm die Gespräche, die er mit dem Zaren führen kann. Er betont ihre Glaubwürdigkeit

und Wörtlichkeit, denn er habe sie jeweils abends aufgezeichnet. Ihre Veröffentlichung ist ein generell verpönte indiscret Verfahren wie die deutschen und französischen Reaktionen auf Karl Gutzkows „Briefe aus Paris“ aus demselben Jahr belegen [6]. In Custines Aufzeichnungen äußert sich der Zar entschieden zu den Herrschaftsformen absolute Monarchie und Republik, die er einzig anerkennt. Damit fällt er über die konstitutionelle Monarchie in Frankreich ein Verdikt. Ludwig XVIII. hat die *Charte constitutionnelle* nach seiner Rückkehr aus dem Exil eingeführt und 1815, nach der Niederschlagung des von Elba ausgebrochenen Napoleon, erneuert. Sein jüngerer Bruder Karl X., seit 1825 auf dem Thron, wird über seinen Versuch der Aushöhlung der Verfassung durch Ordonnanzen stürzen. Ludwig Phillip, 1830 revolutionär inthronisierter Bürgerkönig aus der orleanistischen Nebenlinie der Bourbonen, wird auf dieser Basis regieren. Durch die Äußerungen von Nikolaus I. wird dem französischen König eine sinnvolle Legitimation abgesprochen. Custines Werk erlebt in Frankreich, und viele rasche Übersetzungen auch in Europa, einen Sensationserfolg – Schätzungen kommen auf 200 000 Exemplare. Gegenschriften, von russischen Kreisen finanziert, erscheinen [9, c. 95]. In Rußland selbst durfte es nicht erscheinen, erst 1905 taucht eine Teilübersetzung auf, doch muß man davon ausgehen, daß es im Original in Hofkreisen gelesen wurde.

Wie verhält sich Heine konkret zu dem adligen, schon zuvor durch verschiedene Reisebeschreibungen hervorgetretenen Schriftstellerkollegen Custine? Er kannte ihn persönlich, spätestens seit 1836, als Custine versucht, ihn in seinen Kreis zu ziehen. Es entwickelt sich ein kameradschaftlicher *confrère*-Ton zwischen ihnen, wobei die verstorbene Berliner Freundin Rahel Varnhagen, eine berühmte Salon-Dame, und ihr jüngerer Ehemann, Karl August, der der erste Vermittler Puschkins in Deutschland gewesen ist, eine verbindende Brücke bilden. Heine dürfte auch biographische Einzelheiten wie die Rückgabe der reichen Güter an die Mutter Delphine während der Restaurationszeit kennen, die zu den großen Salon-Damen in Paris zur romantischen Zeit der Madame de Staël gehört hat und einen Roman nach ihr benennt. Es ist durchaus denkbar, daß Heine schon früh mündliche Schilderungen der Rußland-Reise gehört hat. Im Dezember 1839 besucht Heine mit dem befreundeten jungdeutschen Schriftsteller Heinrich Laube eine Soiree Custines, der dort u.a. auf Balzac, Lamartine, Girardin stößt und eine Einschätzung Heines wiedergibt: Der Marquis «*sei nur ein halber Literat, müsse also für*

*vollen Besuch sorgen, um selber voll auszusehen» [2, T.1, с. 424]<sup>27</sup>. Heines Notizen beruhen wohl auf einer Lektüre Ende 1843 in Deutschland, denn er gibt das ausgeliehene Werk an seine Schwester während der Deutschland-Reise zurück.*

Durch die Stichwortsetzung am Beginn ist anzunehmen, daß Heine einen Rohentwurf seiner Einschätzung für eine Unterbringung an einer passenden Stelle bei entsprechender Aktualität geplant hat. Schließlich galten das hochkonservative Rußland und das revolutionär legitimierte Frankreich als Todfeinde:

«<Allianz zwischen Rußland und Frankreich>

*Allianz zwischen Rußland und Frankreich. Ihre Affinität – in beiden Ländern der Geist der Revolution; hier in der Masse und hieß einst Convent, dort konzentriert in einer Person und heißt Zar; hier in republikanischer, dort in absolutistischer Form; hier die Freyheit, dort die Civilization im Auge behaltend, hier idealen Prinzipien, dort der praktischen Nothwendigkeit huldigend, an beiden Orten aber revolutionär agierend gegen die Vergangenheit, die sie verachten, ja hassen. Die Scheere welche die Bärte der Juden in Polen abschneidet, ist dieselbe womit in der Conciergerie dem Ludwig Capet die Haare abgeschnitten wurden, es ist die Scheere der Revolution, ihre Censurscheere womit sie nicht einzelne Phrasen oder Artikel, sondern den ganzen Menschen, ganze Zünfte, ja ganze Völker aus dem Buche des Lebens schneiden. Niklas war gegen Frankreich weil dieses seiner Regierungsform, dem Absolutismus, propagandistisch gefährlich war, nicht seinen Regierungsprinzipien; ihm mißfiel an Ludwig Philipp das beschränkte Bürgerkönigliche, das ihm eine Parodie der wahren Königsherrlichkeit dünkte, aber dieser Unmuth weicht in Kriegsfällen vor der Nothwendigkeit, die ihm das höchste Gesetz – die Zaren unterwerfen sich demselben immer und müssen sie dabey auch ihre persönlichen Sympathien opfern; das ist ihre Force, – sie <sind> deshalb immer so stark, und ist einer schwach von Natur, so stirbt er bald an der Familienkrankheit und machte einem Stärkeren Platz – Richtig beobachtete Cousine: ihre Gleichgültigkeit gegen die Vergangenheit, gegen das Alterthümliche – er bemerkte auch richtig den Zug der Raillerie bey den Vornehmen; diese muß auch im Zar ihre Spitze finden; von seiner Höhe sieht er den Contrast der kleinen Verhältnisse mit den großen Phrasen, und im Bewußtseyn seiner*

<sup>27</sup> Der Komponist Flotow hat nach einer ersten Paris-Reise (1828-1830) im Mai 1831 bis etwa 1846/47 dort gelebt. Bei einer Soiree-Schilderung erscheinen als weitere Besucher Horace Vernet, Chopin und George Sand [3, с. 81].



*kolossalen Macht muß er jede Phraseologie bis zur Persiflage verachten – der Marquis verstand das nicht – Wie kläglich müssen ihm die chevaleresken Polen erscheinen, diese Leichen des Mittelalters mit modernen Phrasen im Munde, die sie nicht verstehen; er will sie zu Russen machen, zu etwas Lebendigem; auch die Mumien, die Juden, will er beleben, edler Wille schreckliche Mittel – Klage über die Bärte und Schubbez – Gemeine Russen: zweybeiniges Vieh, das er zu Menschen heran knutet –*

<Niklas – Erbdiktator>

*Niklas Erbdiktator (Gleichgültig<eit> gegen das Herkömmliche, das Verjährte, das Geschichtliche)*

<Die Revolution trägt in Rußland eine Krone>

*Rußland – Einheit der Autorität, durch politische, nazionale und sogar religiöse Gleichheit, die Autorität geübt durch die höchste Intelligenz, terroristisch gegen sich selbst, jede Schwäche von sich ausscheidend: Peter III stirbt, Paul stirbt, Constantin tritt ab, und eine Reihe der ausgezeichnetsten Herrscher tritt auf, seit Peter I z. B. Catarina II, Alexand<e>r, Nicolas – die Revoluzion trägt hier eine Krone und ist gegen sich selbst so unerbittlich wie es das Comité du salut public nur jemals seyn konnte» [8, T.13, c. 331, 1348].*

Es ist die Rücksichtslosigkeit, die Unerbittlichkeit gegenüber der Vergangenheit, positiv: die Freiheit der Setzung einer neuen Gegenwart, die diese Wertungen zur Parallelität von der französischen Revolution von 1789 mit dem Zarentum vereint. Die Einschätzung der ritterlich-veralteten Polen und der polnischen Juden mit ihren Bärten und Pelzröcken kennen wir seit Heines Berliner Studienzeit, auch die Charakterisierung der Juden als Volksmumie, die er in der Spätzeit revidieren wird. Die Beschreibung Rußlands und seiner Zaren ist umfassend wie sonst nirgends in seinem Werk, er stellt es unter das Gesetz der notwendigen Einheit und der Notwendigkeit überhaupt. Die Erwähnung der Zarenreihe ist eher konventionell, wobei in die Zeit von Heines selbsterlebtem politischem Bewußtsein ja nur Konstantin und der Dekabristenaufstand fällt.

Am Ende der Julimonarchie steht die durch eine Wahlbankettbewegung ausgelöste Februarrevolution von 1848, die Heine zunächst in den Männern der Provisorischen Regierung freudig begrüßt, denn er sieht in ihnen Kapazitäten, die aus den unteren Schichten des Volks hervorgegangen sind [8, T.14, c. 287]<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Ergänzend: Walter Grab *Heinrich Heine als politischer Dichter* [5].

Ihr rasches Scheitern, mit seinem eigenen gesundheitlichen Zusammenbruch parallel laufend, mündet in die mit überwältigender Stimmenzahl für Louis Napoleon Bonaparte ausgehende Wahl zum Präsidenten der Republik, die dieser zunächst 1851 mit einem Staatsstreich am 2. Dezember umbaut, sich schließlich im Jahr darauf als Napoleon III. bestätigen läßt. Heine schreibt einen anstößigen *Waterloo*-Essay, der so anstößig ist, daß sein Verleger ihn aus den *Vermischten Schriften* herausnimmt; er suggeriert dort, er sei eigentlich als gebürtiger Düsseldorfer ein Franzose, der jetzt eine Wiedergutmachung erfahre [8, T.15, c. 187]. Im April 1852 erscheint in der Londoner Zeitschrift *The Critic* ein Interview, das erste mit einem deutschen Schriftsteller geführte Interview, in dem er eine völlige Gradlinigkeit seiner Entwicklung unter dem Aspekt Napoleon behauptet:

*«I have never swerved from my faith in the Emperor. I have never ceased to doubt of his advent – My Emperor – the ruler of the people for the people»* [2, T.2, c. 295].

Das Bild der individuellen Linienführung ergänzt er in der Spätzeit durch einen Rückblick auf die Jahre der konstitutionellen Monarchie, versteckt in der Darstellung seines erneuerten Glaubens an einen persönlichen, nicht mehr pantheistischen Gott:

*«Auch haben die meisten in Deutschland während der Restaurationszeit mit dem lieben Gotte dieselbe fünfzehnjährige Comödie gespielt, welche hier in Frankreich die konstitutionellen Royalisten, die größten Theils im Herzen Republikaner waren, mit dem Königthume spielten. Nach der Julius-Revolution ließ man jenseits wie diesseits des Rheines die Maske fallen. Seitdem, besonders aber nach dem Sturz Ludwig Philipps, des besten Monarchen der jemals die konstitutionelle Dornenkrone trug, bildete sich hier in Frankreich die Meinung: daß nur zwey Regierungsformen, das absolute Königthum und die Republik, die Kritik der Vernunft oder der Erfahrung aushielten, daß man Eins von beiden wählen müsse, daß alles dazwischen liegende Mischwerk unwahr, unhaltbar und verderblich sey»* [8, T.3, c. 180].

Mit einem Ausflug in die Gegenwart möchte ich schließen: Das Rußland-Buch von Custine ist nicht tot. Ein führender amerikanischer Außenpolitiker, George F. Kennan, hat 1972 eine Monographie über es veröffentlicht, ein deutscher Verlag hat vor wenigen Jahren eine leicht gekürzte Fassung neu aufgelegt.

**Библиография:**

1. *Astolphe de Custine* Russische Schatten: Prophetische Briefe aus dem Jahre 1839 / Aus dem Französischen von A. Diezmann. Nördlingen: Greno Verlagsgesellschaft, 1985.
2. Begegnungen mit Heine. Berichte der Zeitgenossen. 2 Bde. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1973.
3. Friedrich von Flotow's Leben. Von seiner Witwe. Leipzig 1892.
4. Goethes Werke. Weimarer Ausgabe. I. Abt. Bd. 3. Weimar, 1890
5. *Grab W.* Heinrich Heine als politischer Dichter. Heidelberg, 1982.
6. *Hansen V.* Das literarische Interview // A. Bartl u.a. „In Spuren gehen...“. Festschrift für Helmut Koopmann. Tübingen, 1998. S. 461-472
7. *Hansen V.* Johannes der Täufer. Heines bedingter Bonapartismus // Der späte Heine: 1848-1856. Hamburg, 1982.
8. *Heine H.* Historisch-kritische Gesamtausgabe der Werke: In 16 Bdn. / Hrsg. v. M. Windfuhr. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1973-1997.
9. *Kennan G. F.* The Marquis de Custine and His 'Russia in 1839'. London, 1972.
10. *Morawe B.* Citoyen Heine. Das Pariser Werk. In 2 Bdn. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2012
11. *Morawe B.* Heines „Französische Zustände“. Über die Fortschritte des Republikanismus und die anmarschierende Weltliteratur. Heidelberg: Carl Winter Verlag, 1997.

## ВЕНСКИЙ КОНГРЕСС 1815 И ГЕРМАНСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 19 ВЕКЕ

Д. Вулльф

Национальный исследовательский университет «Высшая  
школа экономики», Санкт-Петербург

Российско-германские отношения в XIX веке развивались в условиях гарантированной Венским конгрессом международной системы (Венский порядок). Несмотря на все первоначальные устремления легитимировать существующие в Европе режимы, ее исходная точка заключалась в том, что для обеспечения мира, стабильности и безопасности нельзя было допустить гегемонию одной из великих держав. Великие державы, не в последнюю очередь Пруссия и Германия, создали многополярную систему равновесия и приспособленное к ней международное право. Все пять великих держав, своего рода совет безопасности Европы, были гарантами «венского порядка». Они обеспечивали контроль за очагами конфликтов и прилагали, когда это было нужно, усилия по разрядке. В этом отношении результаты Венского конгресса оказались гораздо более эффективными, нежели это отразилось в исторической памяти народов Европы и в сопутствующей историографии.

**Ключевые слова:** Венский порядок, мультиполярный мир, Германский союз, отрицательная польская политика, российско-германские отношения.

**The Congress of Vienna in 1815 and German-Russian Relations in the 19<sup>th</sup> Century**  
D. Wulf

National Research University *Higher School of Economics*, St. Petersburg

Russian-German relations in the XIX century developed under the conditions of the international system guaranteed by the Vienna Congress (the Vienna Order). Despite all the initial aspirations to legitimize the existing regimes in Europe, its starting point was that in order to ensure peace, stability and security, it was impossible to allow the hegemony of one of the great powers. The great Powers, not least Prussia and Germany, have created a multipolar system of equilibrium and international law adapted to it. All five great powers, a kind of European Security Council, were the guarantors of the *Vienna order*. They provided control over the hotbeds of conflict and made efforts to detente when necessary. In this respect, the results of the Vienna Congress proved to be much more effective than it was reflected in the historical memory of the peoples of Europe and in the accompanying historiography.

**Keywords:** Vienna Order, multipolar world, German Union, negative Polish policy, Russian-German relations.

**Der Wiener Kongress 1815 und die Deutsch-Russischen  
Beziehungen im 19. Jahrhundert**

Historiker stellen manchmal Fragen, die Vertretern anderer wissenschaftlicher Disziplinen seltsam anmuten. Wann begann und

wann endete das 19. Jahrhundert? Wie lange dauerte es? Jahrhunderte sind Geschöpfe des Kalenders, wie der Konstanzer Historiker Jürgen Osterhammel in seinem wunderbaren Buch *Die Verwandlung der Welt. Die lange Geschichte des 19. Jahrhunderts* schrieb, die Randdaten sind reine Formalität [8, c. 84-85]. Weder der Beginn des 19. Jahrhunderts, noch sein Ende fielen mit epochalen historischen Ereignissen zusammen. Nicht die Jahre 1801 oder 1900 blieben im Gedächtnis der Völker und Generationen haften, sondern 1812, 1815, 1848 etwa oder 1870/71. Die Schwierigkeiten, die Periodisierungsfragen dieser Art bereiten, tragen dazu bei, dass sich viele Historiker in diesem Punkt in großer Vorsicht über. Recht unbestimmt ist häufig von einem «langen» oder, relativ selten, von einem «kurzen» 19. Jahrhundert die Rede. Das «lange» 19. Jahrhundert reicht dann vom Sturm auf die Bastille im Jahre 1789 bis zum Ausbruch (oder bis zum Ende des 1. Weltkrieges). Die Befürworter der kurzen Variante messen das Jahrhundert an den Kriterien der internationalen Beziehungen, in ihrer Diktion dauerte es vom Wiener Kongress 1814/15 bis zum Eintritt der USA in die Weltpolitik, der für die meisten Spezialisten mit dem Spanisch-amerikanischen Krieg 1898 einsetzte.

Kaum jemand wird jedoch bestreiten, dass der Wiener Kongress eine deutliche Zäsur in der internationalen Politik darstellte. Er legte das Fundament für ein weitgehend ideologiefreies Mächtesystem, dass der Kräftebalance und der Friedenssicherung verpflichtet war. Er stellte die Pentarchie, das Konzert der fünf Großmächte Großbritannien, Russland, Österreich, Preußen und Frankreichs, wieder her und schuf einfache, aber gut funktionierende Mechanismen, um künftig Krieg in Europa zu vermeiden. Aus dem Kongress ging zwar auf Initiative des russischen Kaisers Alexander I. die russisch-preußisch-österreichische Heilige Allianz hervor. Es handelte sich indes um eine «praktisch-politisch wenig bedeutsame Europaphantasie <...> in hochromantischer Rhetorik» mit hohen Erwartungen an die Dynamik ihres slawisch-orthodoxen Bestandteils [8, c. 145]. Die Idee selbst zeugte von einer gehörigen Portion Sendungsbewusstsein, ließ aber bereits 1815 erahnen, welch wichtiges Handlungsmotiv die Furcht vor der Revolution, der nackte Selbsterhaltungstrieb also, im 19. Jahrhundert werden sollte [7, c. 326]. Die Absprachen des Wiener Kongresses blieben auf den kleinen europäischen Kontinent beschränkt, sieht man einmal davon ab, dass in Wien am Rande auch über den Sklavenhandel gesprochen wurde. Die Kolonien der Großmächte, die sogenannte «Orientalische Frage», die

amerikanischen Vereinigten Staaten blieben außerhalb der Agenda. Kriege gab es zwar des Öfteren an der Peripherie Europas, sie bedrohten aber, wie es schien, den Frieden auf dem Kontinent nicht. Der Eurozentrismus des Wiener Kongresses kann durch aus als geniale Idee bewertet werden [8, с. 674, 678-679].

Der Wiener Kongress von 1814/1815 stellte zweifellos auch einen echten Einschnitt in den Beziehungen zwischen Russland und seinen westlichen Nachbarn dar. Noch in der ersten Jahreshälfte 1812 gehörten alle deutschen Staaten als Satelliten oder Vasallen zum Reich Napoleon Bonapartes. Der jüngste Bruder des französischen Kaisers war der König des Königreich Westfalens im Herzen Deutschlands. Das Großherzogtum Berg, ein nach französischem Vorbild gestalteter Musterstaat des deutschen Rheinbundes, regierte zeitweilig sein Neffe Napoléon Louis Bonaparte. Preußen und Österreich waren nach den Schlachten von Austerlitz, Auerstedt und Jena 1805 bzw. 1806 vernichtend geschlagen. Doch schon in der zweiten Jahreshälfte 1812 hatte sich das Bild grundlegend gewandelt. Der nur wenige Monate andauernde Feldzug Napoleons gegen das Zarenreich hatte im Dezember 1812 mit einer vernichtenden Niederlage der Grande Armée geendet. Sie setzte eine außerordentlich dynamische Entwicklung in den Beziehungen zwischen Russland und den deutschen Staaten in Gang. Ende Februar 1813 schlossen Feldmarschall M. I. Kutuzov und der Chef der preußischen Regierung Baron vom Hardenberg in Breslau und Kalisch formale Bündnisabkommen ab. Nur einen Monat später erklärte Preußen Frankreich den Krieg. In die immer breiter werdende Koalition gegen Napoleon reihten sich bald auch Österreich und andere deutsche Staaten ein. Die Völkerschlacht bei Leipzig vom 16. bis 18.10.1813 begründete die Waffenbrüderschaft zwischen den neuen Alliierten.

Die Endphase des Koalitionskrieges gegen Napoleon war begleitet von intensiven diplomatischen Aktivitäten, in denen Russland und Preußen eine entscheidende Rolle spielten. Bereits im Frühjahr 1814, im Vorfeld des Wiener Kongresses also, kamen unter ihrem maßgeblichen Einfluss jene strategischen Übereinkünfte zustande, die die internationalen Beziehungen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts prägten: Verzicht auf Hegemonie, regionales Gleichgewicht, Nachsicht im Verhältnis zu den Besiegten, langfristige Friedenssicherung. Nationale Gefühle und Freiheitsbekundungen, die diesen Absichten im Wege gestanden

hätten, wurden von den Regierungen der Koalition auf das Entschiedenste bekämpft [1, с. 221-222]. Der Vertrag von Chaumont, der am 01.03.1814 die Quadrupelallianz besiegelte, traf in dieser Hinsicht bereits strategische Vorentscheidungen, das Schicksal Deutschlands betreffend. Er wandte sich gegen etwaige Einheitsbestrebungen in Deutschland und sah die Souveränität der deutschen Fürstentümer vor, die allenfalls durch lose föderale Bande verbunden sein sollten. Der Präliminarfrieden vom Paris (30.05.1814) beendete den Koalitionskrieg und übertrug die endgültigen Friedensregelungen einem in Wien einzuberufenden Kongress.

Im September 1814 versammelten sich in der österreichischen Hauptstadt die politischen Eliten Europas. Monarchen und ihre Gattinnen, Minister, Höflinge, Mätressen und Generäle, nahezu 16 000 Menschen trafen in Wien ein, um über das Schicksal des Kontinents zu verhandeln [9, с. 255]. Es liegt auf der Hand, dass nicht alle in gleichem Maße Einfluss auf den Lauf der Verhandlungen nehmen konnten. Im Grunde genommen waren es die Vertreter der vier Siegermächte Großbritannien, Russland, Österreich und Preußen und der Außenminister der Verlierermacht Herzog Talleyrand, seltener die Vertreter der alten Großmächte Portugal, Schweden, Spanien und der Niederlande, die das Geschehen prägten. Alle Entscheidungen liefen im Lenkungsausschuss zusammen, der im Wiener Außenministerium am Ballhausplatz zusammenkam, die einzelnen Regelungen entstanden in Arbeitsgruppen oder Kommissionen, ein Novum für die damalige Zeit. Niemals zuvor gab es eine so gewaltige Ansammlung politischer Kompetenz auf engstem Raum, die es erlaubte schwierigste politische Fragen gleich vor Ort zu besprechen und zu entscheiden. Der Effektivität des Kongresses kam zudem zugute, dass er nach dem Ende der Kriegshandlungen und dem eigentlichen Friedensschluss stattfand.

Das Bild, das die Nachwelt vom Wiener Kongress pflegte, war geprägt von dem geflügelten Wort, das dem greisen und weisen österreichischen Diplomaten und Feldmarschall Charles Joseph Fürst von Ligne zugeschrieben wurde:

*«Der Kongress tanzt, aber er kommt nicht voran» /*

*«Le Congrès danse beaucoup, mais il ne marche pas».*

Es suggerierte Harmonie, Unterhaltung, Ablenkung, einen Hauch von Halbwelt, kaum aber ernsthafte Arbeit zur Sicherung des

künftigen europäischen Friedens. Tatsächlich war der Kongress ein hartes Stück Arbeit für alle Beteiligten, und von Harmonie war kaum eine Spur. Die Sieger stritten um Territorien und Einfluss, kaum ein Trick schien zu schmutzig, um die früheren Koalitionäre zu übervorteilen. Auf dem Wiener Kongress bildeten sich Fronten, die für die weitere Entwicklung der internationalen Beziehungen von größter Bedeutung waren. Im Sinne unseres Themas verdient dabei die preußisch-russische Allianz die größte Beachtung. Kaiser Alexander I. und der preußische König Wilhelm waren schon gemeinsam als Sieger in Paris eingeritten. Dabei waren beide Monarchen von völlig unterschiedlicher Statur – Alexander I., innerlich zerrissen von den Ideen der Aufklärung und der Neigung zum religiösen Mystizismus, erfüllt von dem Pathos des Siegers und ausgeprägtem Sendungsbewusstsein auf der einen Seite, und Friedrich Wilhelm III. von Preußen, auch er Repräsentant eines Siegerstaates zwar, geprägt aber auch von den Erniedrigungen der verheerenden Niederlagen von Jena und Auerstedt gegen Napoleon und dem bitteren Tilsiter Frieden. Sicher ist es unzulässig von der Persönlichkeitsstruktur zweier Monarchen auf die Rollenverteilung beider Mächte auf dem Wiener Kongress zu schließen. Alle Beteiligten spürten aber, dass sich die preußischen Teilnehmer sehr wohl der Tatsache bewusst waren, dass die bloße Existenz ihres Staates und die Wiederaufnahme in den Kreis der Großmächte in erster Linie dem Eintreten Russland und seines Kaisers Alexanders I. zu verdanken war. Auch den Beteiligten aus Russland war diese Konstellation selbstverständlich bewusst.

Der Wiener Kongress behandelte zahllose Probleme – nur wenige können hier Erwähnung finden. Für alle Großmächte besaß das weitere Schicksal Polens beträchtliche Bedeutung, vor allem aber für Russland, Österreich und Preußen. Alexander I. sah im weiteren Gebietsgewinn in Polen und der Arrondierung der russischen Besitzungen zweifellos den verdienten Siegerlohn, und für die Unterstützung durch Preußen in dieser Frage sollte dieses das ehemals so Napoleon treue Sachsen inkorporieren dürfen. Dem Vernehmen nach richtete Kaiser Alexander I. folgende drohende Worte an den französischen Bevollmächtigten Talleyrand:

*«Der König von Preußen wird König von Preußen und Sachsen sein, wie ich Kaiser von Russland und König von Polen sein werde. Die Gefälligkeiten, die Frankreich mir in diesem Punkte erweist, werden der Maßstab sein für die Gefälligkeiten, die ich ihm in allen Fragen erweisen werde, woran es beteiligt ist» [4, c. 15].*



Diese Interessengemeinschaft löste erbitterten Widerspruch aus. Das ungelöste sächsisch-polnische Problem führte Großbritannien und Österreich zusammen, und die französische Diplomatie schloss sich dieser Koalition aus nachvollziehbaren taktischen Motiven an. Am 03.01.1815 unterschrieben die Vertreter Großbritanniens, Österreichs und Frankreichs Castlereagh, Metternich und Talleyrand einen Geheimpakt. Es würde zu weit führen, diesen fulminanten politischen Zank im Detail zu schildern. Der Gipfelpunkt war zweifellos erreicht, als der deutsche Verhandlungsführer, Fürst Karl August von Hardenberg, dem russischen Kaiser Alexander I. seinen Briefwechsel mit Metternich offenlegte. Aus ihm ging hervor, welche gewaltigen Anstrengungen der österreichische Außenminister unternahm, um Preußen gegen Russland aufzubringen. Metternich rächte sich, in dem er dem Zaren die Briefe Hardenbergs überbrachte, die dessen antirussischen Ressentiments offenlegten. Da diese Korrespondenz auch die Doppelzüngigkeit Alexanders bloßstellte, waren alle Seiten desavouiert. Ein neuer Krieg, diesmal zwischen den ehemaligen Bündnispartnern gegen Napoleon, schien nicht mehr ausgeschlossen [1, S. 231]. Die berechtigte Furcht vor den Konsequenzen einer neuerlichen militärischen Auseinandersetzung zwangen Russland und Preußen zu Zugeständnissen. Preußen erhielt nur einen Teil Sachsens mit etwa 2 Mio. neuen Untertanen, kleinere Territorien des Großherzogtums Warschau, die ehemaligen französischen Rhein-Departments und Westfalen sowie einige deutsche Fürstentümer. Sachsen blieb zur Freude Österreichs als Königreich bestehen, König Friedrich-August durfte Leipzig und Dresden, insgesamt die Hälfte des vormaligen Territoriums und zwei Drittel der Landesbevölkerung behalten. Russland bekam alle übrigen Teile des ehemaligen Herzogtums Warschau. Aus Kongresspolen wurde das Königreich Polen, das noch 1815 eine eigene Verfassung vom russischen Kaiser geschenkt bekam. Polen galt zunächst als Experimentierfeld für den von der Aufklärung beeinflussten Autokraten, spätestens seit den 1820er Jahren gefährdete es als Unruheherd die innere Stabilität des riesigen Vielvölkerstaates. Die gewaltsam unterdrückten polnischen Aufstände von 1830 und 1863 legten hiervon Zeugnis ab. Die Westverschiebung Russlands in Richtung Mitteleuropa rief Widerstände hervor, die mit Befürchtungen um die gesamteuropäische Stabilität und Sicherheit in Zusammenhang standen. Die Beziehungen zwischen den unmittelbaren Nachbarn Preußen und Russland gefährdete sie ungeachtet aller

Bekundungen von Polenfreundschaft in Preußen paradoxerweise nicht. Das Volk sang 1832 auf dem Hambacher Fest das Lied Jakob Siebenpfeiffers:

*«Wir sahen die Polen, sie zogen aus.  
Als des Schicksals Würfel gefallen.  
Sie ließen die Heimat, das Vaterhaus.  
In der Barbaren Räuberkrallen.  
Vor des Zaren finsterem Angesicht.  
Beugt der freiheitsliebende Pole sich nicht».*

Die gemeinsam betriebene negative Polenpolitik, ein von dem Berliner Historiker Klaus Zernack geprägter Begriff [10], [11], war ein einigendes Band selbst über die Reichsgründung hinaus. Immer wenn es darum ging, polnische Autonomie- oder Unabhängigkeitsbestrebungen zu unterdrücken, konnte man sich in Berlin und St. Petersburg aufeinander verlassen.

Die Behandlung territorialer Fragen durch den Wiener Kongress besaß für die langfristige Entwicklung der Beziehungen zwischen Preußen/Deutschland und Russland noch eine weitere Konsequenz. Die Mächte hatten Preußen wie auch den Bayern kein wirklich zusammenhängendes Staatsgebiet bewilligt. Es hatte aber Westfalen und die Rheinprovinz hinzugewonnen. War die außenpolitische Aufmerksamkeit Preußens bis zum Wiener Kongress vornehmlich gen Osten gerichtet gewesen, so bekam von nun ab die westliche Ausrichtung, die Beziehungen zu den dortigen Nachbarn, immer größere Bedeutung. Diese veränderte zumindest die Intensität der deutsch-russischen Beziehungen im 19. Jahrhundert, zumal auch die russische Außenpolitik einem Orientierungswechsel entgegensah. War sie seit Peter I. vornehmlich auf den Westen ausgerichtet gewesen, so ließ das Interesse seit dem Sieg über Napoleon und der Saturierung der territorialen Ansprüche nach. Die Ausdehnung im Osten und im Südosten und deren außenpolitische Begleitung hingegen spielte eine zunehmend bedeutendere Rolle. Jürgen Osterhammel spricht gar von einem mentalen Rückzug in die slawischen Stammlande der 1825 eingesetzt habe [8, c. 147].

Nimmt man die anderen strategischen Beschlüsse des Wiener Kongresses, z. B. hinsichtlich der Schweiz und ihrer Neutralität, Italiens usw., so fielen die Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland deutlich bescheidener aus. Der Logik des multipolaren Mächtesystems, das auf Gleichgewicht

unter Vermeidung von Hegemonie abzielte, folgte auch der auf dem Wiener Kongress neu beschlossene Deutsche Bund, der in der Nachfolge des 1806 untergegangenen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation stand. Er war machtpolitisch das genaue Abbild des neugeordneten Europas. Der Deutsche Bund kam nicht ohne wesentliches Zutun Russlands zustande. Das Zarenreich vergrößerte durch den Gebietsgewinn in Polen allerdings seinen Einfluss auf den Gang der Dinge im benachbarten Deutschen Bund, insbesondere in Bezug auf seine Stabilität, politische Struktur und Handlungsfähigkeit [6, с. 96-97]. Die während der Entstehung des Nationalstaates entstandene und bis heute in dessen Rahmen agierende Geschichtsschreibung verlieh ihm ein eindeutig negatives Image. Zu schwach und den Einheitsbestrebungen der Deutschen unwürdig, so lautetet noch die sanftesten Attribute, die Historiker, Publizisten und Dichter dem Deutschen Bund verliehen. Liberale Historiker betonten den reaktionären, konservativen Charakter des Bundes, der nicht ohne Auswirkungen auf die Reichseinigung blieb, die dann von Bismarck unter dem Einsatz von *Blut und Eisen* erfolgte. Dabei verdient er doch eine wesentlich positivere Einschätzung. Als Bestandteil der europäischen Sicherheitsarchitektur trug er doch zumindest dazu bei, den Frieden in Europa im 19. Jahrhundert zu sichern. Unterschätzt wurde in der Vergangenheit auch der Beitrag des Deutschen Bundes zu inneren Nationenbildung, z. B. auf dem Gebiet des Rechts, der Maße und Gewichte sowie des Handels.

Bewertet man die langfristigen Konsequenzen des vom Wiener Kongress inaugurierten Mächtesystems für die deutsch-russischen Beziehungen im 19. Jahrhundert, so wird man zweifellos auch nach der Effektivität dieses Systems an sich fragen müssen. Sie war größer, als die nationalstaatlich orientierte Geschichtsschreibung vermuten lässt. Ungeachtet aller Bestrebungen, die bestehenden Regimes historisch und rechtlich zu legitimieren, ging es doch gänzlich unideologisch davon aus, davon aus, dass Frieden, Stabilität und Sicherheit nicht durch die Hegemonie eines einzigen europäischen Nationalstaates zu gewährleisten sein. Die Napoleonischen Kriege waren in dieser Hinsicht eine eindeutige Lehre gewesen. Die Teilnehmer des Wiener Kongresses, unter ihnen an maßgeblicher Stelle die Vertreter Preußens und Russlands schufen stattdessen ein neues multipolares Gleichgewichtssystem, das große, mittlere und kleine Staaten bzw. Föderationen integrierte und auf die Durchsetzung des neu definierten Völkerrechtes setzte. In dieser Hinsicht könnte

es m.E. durchaus einen gewissen Vorbildcharakter für das heutige Europa besitzen. Die fünf Großmächte garantierten gleichsam als europäischer Sicherheitsrat die Wiener Ordnung. Sie gewährleisteten die Konfliktkontrolle und leiteten das Krisenmanagement. In diesem Sinne war der Wiener Kongress viel effektiver und zukunftsweisender als sein immer wieder kolportierter Ruf als ewig tanzender Freizeitvertreib für gelangweilte Monarchen, Minister und Diplomaten. Erst die Abkehr vom nationalstaatlichen Narrativ und die Hinwendung zum Paradigma der transnationalen Geschichte hat diese Neubewertung möglich gemacht. Für Preußen und Deutschland, wie für das Mächtesystem an sich bildeten die Beschlüsse des Wiener Kongresses einen Katalysator, der die Transformationsprozesse des langen 19. Jahrhunderts voranbrachte. Es begleitete den Weg Europas in die Moderne, in dem es Stabilität sicherte [6, c. 8-13]. Nur unter den Bedingungen von Stabilität konnten die inneren und ökonomischen Reformen gedeihen, die in nahezu allen europäischen Staaten auf der Agenda standen. Sie begleitete die industrielle Revolution, die dynamische Entwicklung des internationalen Handels, den Übergang von der Untertanengesellschaft zur Staatsbürgergesellschaft. Für seine Effektivität spricht, dass nahezu ein ganzes Jahrhundert lang Europa von einem Krieg verschont blieb, an dem alle Großmächte beteiligt gewesen wären. Kriege gab es, sie verblieben aber mehr oder weniger deutlich in einem regionalen Rahmen. Zwischen 1853 und 1871 fanden fünf Kriege, die unter der Beteiligung der Großmächte geführt wurden. Bilanziert man die Kriegsbeteiligungen, so war Österreich viermal kriegsführend, Preußen dreimal, Frankreich zwei, und Großbritannien und Russland je einmal. Russland Niederlage im Krimkrieg wog zwar schwer, der Krieg selbst war eher zufällig zustande gekommen, obwohl er durchaus einer geopolitischen Logik folgte. Sieht man von den Konflikten mit dem am Wiener System nicht beteiligten Osmanischen Reich ab, so war das Russische Reich an einem dieser Kriege beteiligt, Preußen an mindestens drei. So wenig aussagekräftig diese Zahlen auch anmuten, so zeugen sie doch davon, wen das Wiener System saturierte, wen es weniger zufrieden stellte.

Abschließend sei noch die Frage gestellt, wann das Wiener System oder die Wiener Ordnung in den internationalen Beziehungen zu Ende ging. Eine gerade erschienene Kollektivmonographie über den Platz Russland im System der

internationalen Beziehungen seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis zum 1. Weltkrieg, entstanden im Institut für russländische Geschichte der Akademie der Wissenschaften, gibt eindeutige Antworten [3]. Das Wiener System sei mit dem Pariser Frieden von 1856 zu Ende gegangen und vom Krim-System abgelöst worden. Ihm folgte 1878 das Berliner System, das Europa in die Katastrophe des 1. Weltkrieges führte. Für diesen sehr dezidierten Vorschlag spricht einiges. Die im neuartigen Völkerrecht gebündelten Regeln, Instrumente und Verhaltensnormen verloren im Laufe der Jahrzehnte ihre Bindungskraft und ermöglichten es immer weniger, internationale Konflikte zu lösen. Die Fähigkeiten des Europäischen Konzertes, internationale Krisen zu managen, kamen abhanden. Die Vorgeschichte des 1. Weltkrieges mit den Protagonisten Deutschland und Russland legt hiervon beredt Zeugnis ab. Die Wirkungsgeschichte des Wiener Kongresses machte auch deutlich, dass die internationalen Beziehungen zunehmend von anderen Faktoren beeinflusst wurden, als jenen, die aus dem Grundsatz des Primates der Außenpolitik folgten. Die Innenpolitik der beteiligten Staaten, ihre wirtschaftlichen und finanziellen Potentiale prägten immer stärker das Verhältnis der Staaten zueinander und unterminierten gleichsam außenpolitische Kombinationen. Dies galt in vollem Umfang auch für die deutsch-russischen Beziehungen im 19. Jahrhundert. Dennoch gibt es gewichtige Argumente, die dafür sprechen, dass die Wiener Ordnung erst mit dem Ausbruch des 1. Weltkrieges aufhörte zu bestehen [2, c. 164], [8, c. 674-678]. Das Krim-System und der Berliner Kongress von 1878 veränderten die politische Konstellation der Wiener Ordnung nicht radikal. Vielmehr stellten sie eine Art Verteidigungsreflex gegen Versuche einer der Großmächte dar, eine hegemoniale Stellung in der Pentarchie einzunehmen. Die Tradition des gemeinsamen Kampfes der monarchistischen Regimes gegen Sozialismus und Revolution bestand bis zum Ersten Weltkrieg fort. Ungeachtet der zunehmenden Spannungen in den internationalen Beziehungen und der Bildung antagonistischer politischer Blöcke in Europa unter Beteiligung der Großmächte gab es immer wieder mehr oder weniger erfolgreiche Versuche derselben Mächte, in Richtung Entspannung zu wirken. Dazu zählen z. B. die Haager Friedenskonferenzen oder die regelmäßig wiederkehrenden Absprachen der Mächte entgegen der eigentlichen Bündnislogik. Deswegen war es für viele Zeitzeugen der Julikrise 1914 völlig unverständlich, warum die Großmächte sich plötzlich für die

Entfesselung eines Weltkrieges entschieden. Dem australischen Historiker Christopher Clark ist zweifellos zuzustimmen, als er die europäischen Politiker jener Zeit Schlafwandler nannte, die Europa in die Katastrophe führten [5].

### Библиография:

1. Европейская дипломатия и международные процессы эпохи наполеоновских войн / Под ред. М.М. Наринского, А.В. Торкунова. М.: Аспект Пресс, 2013.
2. Медяков А. С. История международных отношений Нового времени. М.: Просвещение, 2007.
3. От Царства к империи. Россия в системах международных отношений. Вторая половина XVI - начало XX века / Под ред. И.С. Рыбачёнок. М.-СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2015. С. 262-295.
4. *Burg P.* Der Wiener Kongreß. Der Deutsche Bund im europäischen Staatensystem. München: Deutscher Taschenbuchverlag, 1984.
5. *Clark Ch.* The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914. London: Allan Lane, 2012.
6. *Gruner W. D.* Der Wiener Kongress 1814/15. Stuttgart: Reclam, 2014.
7. *Jarret M.* The Congress of Vienna and Its Legacy. War and Great Power Diplomacy After Napoleon. London: I.B. Tauris, 2014.
8. *Osterhammel J.* Die Verwandlung der Welt. Eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. München: Verlag C.H. Beck, 2009.
9. *Zamoyski A.* Rites of Peace: The Fall of Napoleon and the Congress of Vienna. New York: Harper Perennial, 2007.
10. *Zernack K.* Polen und Rußland. Zwei Wege in der europäischen Geschichte. Berlin: Propyläen Verlag, 1994. P. 342-346.
11. *Zernack K.* Preußen-Polen-Rußland. Betrachtungen zum Ende des „Preußen-Jahres“ // К. Zernack, W. Fischer (Hrsg). Preußen - Deutschland - Polen. Aufsätze zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen. Berlin: Duncker & Humblot, 1991. P. 149-150.

## СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

---

*Аверкина Лариса Алексеевна* – кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и практики немецкого языка и перевода НГЛУ, E-mail: larissa.averkina@mail.ru

*Аверкина Светлана Николаевна* – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации, НГЛУ, E-mail: averkina.svetlanalunn@mail.ru

*Александрова Мария Александровна* – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации НГЛУ, E-mail: nam-s-toboi@mail.ru

*Бегер Хорст (Beger, Horst)* – архитектор, член Общества германо-российских встреч г. Эссен, E-mail: horstbeger@arcor.de

*Борисова Алена Сергеевна* – студентка немецкого отделения переводческого факультета НГЛУ, E-mail: aljonaborissowa@gmail.com

*Бронич Марина Карповна* – доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации НГЛУ, E-mail: mbronich@rambler.ru

*Вульф Дитмар (Wulff, Dietmar)* – доцент кафедры истории, НИУ «Высшая Школа Экономики», Санкт-Петербург, E-mail: dwulff@hse.ru

*Грачев Михаил Александрович* – доктор филологических наук, профессор кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации НГЛУ, E-mail: ma-grachev@mail.ru

*Ерышева Мария Евгеньевна* – ассистент, аспирант кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации НГЛУ, E-mail: kiwi77mail@mail.ru

*Козонкова Ольга Валентиновна* – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы СНИГУ им. Н. Г. Чернышевского, E-Mail: kozonkova@rambler.ru

*Листов Виктор Семёнович* – доктор искусствоведения, научный сотрудник Нового института культурологии (Москва), E-mail: vslistov@mail.ru

*Лобков Александр Евгеньевич* – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации НГЛУ, E-mail: alobkow@rambler.ru

*Лошакова Галина Александровна* – доктор филологических наук, профессор кафедры романо-германских языков, УлГПУ им. И. Н. Ульянова, E-mail: lgalin7@mail.ru

*Любимова Наталия Викторовна* – кандидат педагогических наук, профессор, профессор кафедры лексикологии и стилистики немецкого языка Московского государственного лингвистического университета, E-mail: natalju@yandex.ru

*Наумова Ольга Анатольевна* – кандидат филологических наук, доцент, профессор кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации НГЛУ, E-mail: trishano@mail.ru

*Садовников Аркадий Германович* – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации НГЛУ, E-mail: agsad@yandex.ru

*Стулов Юрий Викторович* – кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой зарубежной литературы Минского государственного лингвистического университета, председатель Правления Белорусской ассоциации преподавателей английского языка, член Правления Европейской ассоциации американских исследований, E-mail: yustulov@mail.ru

*Фомин Алексей Александрович* – аспирант кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации НГЛУ, E-mail: particolare@yandex.ru

*Фомин Сергей Матвеевич* – кандидат филологических наук, профессор кафедры русской филологии, зарубежной литературы и межкультурной коммуникации НГЛУ, E-mail: semafor1952@yandex.ru

*Ханзен Фолькмар (Hansen, Volkmar)* – доктор филологических наук, профессор института германистики Дюссельдорфского университета, директор Музея Гёте в г. Дюссельдорфе, E-mail: volkmar.hansen@stadt.duesseldorf.de



ШВЕЙЦАРСКИЕ ТЕТРАДИ

*Выпуск 6*

*Редактор: А. А. Логинова*

---

*Подписано в печать 31.05.2016*

*Формат 60x84/16*

*Усл. печ. л. 12 п.л.*

*Тираж 75 экз. Заказ № 17*

Отпечатано в ООО «Печатная мастерская РАДОНЕЖ»  
603005, Нижний Новгород, ул. Минина, 16-а. Тел. (831 418-53-23)